



Библиотека  
всемирной литературы

---

Серия вторая \*\*

---

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
БИБЛИОТЕКИ  
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

Абашидзе И. В.  
Айтматов Ч.  
Алексеев М. П.  
Бажан М. П.  
Благой Д. Д.  
Брагинский И. С.  
Бровка П. У.  
Бурсов Б. И.  
Ванаг Ю. П.  
Гамзатов Р.  
Грабарь-Пассек М. Е.  
Грибанов Б. Т.  
Егоров А. Г.  
Елистратова А. А.  
Емельяников С. П.  
Жирмунский В. М.  
Ибрагимов М.  
Кербабаев Б. М.  
Конрад Н. И.  
Косолапов В. А.  
Лупан А. П.  
Любимов Н. М.  
Марков Г. М.  
Межелайтис Э. Б.  
Неупокоева И. Г.  
Нечкина М. В.  
Новиченко Л. Н.  
Нурпеисов А. К.  
Пузиков А. И.  
Рашидов Ш. Р.  
Реизов Б. Г.  
Самарин Р. М.  
Семпер И. Х.  
Сучков Б. Л.  
Тихонов Н. С.  
Турсун-заде М.  
Федин К. А.  
Федосеев П. Н.  
Ханзадян С. Н.  
Храпченко М. Б.  
Черноуцан И. С.  
Шамота Н. З.

ЭСА ДЕ КЕЙРОШ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО



ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

ПЕРЕВОД С ПОРТУГАЛЬСКОГО



---

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1970

Вступительная статья  
М. Кораллова

И (Порт.)  
К 33

Иллюстрации  
Г. Филипповского

7-34  
Подп. изд

---

## ЭСА ДЕ КЕЙРОШ

Уже на склоне лет, отвечая на выпад «Утреннего курьера», Эса де Кейрош пробовал урезонить слишком шустрого газетчика:

«...Одиннадцать друзей, собирающиеся каждую неделю в отеле «Браганса», — весьма скромные люди. Им неприятен тот скандальный шум, который пресса подымает вокруг встреч в кабинете ресторана, и им было крайне огорчительно прослыть в столь богоспасаемом государстве за какой-нибудь синдикат или, чего доброго, за новую политическую партию. Они ни разу не подрались и не разбились на лагерь «левых» и «правых». Не выбрали себе председателя. Не сочинили гимна и не завели знамени. ...Если же дорогого коллегу из «Утреннего курьера» особенно раздражает, что сотрапезники называют себя «побежденными жизнью», — хотя, на общий взгляд, больше похожи на победителей, — то пусть коллега сообразит: ощущение победы или поражения зависит от цели, которую ставит перед собой человек, а вовсе не от реально достигнутого...»

Откуда же это сознание поражения? Особенно у того, кто принадлежал, и превосходно звал, что принадлежит, к общественно-интеллектуальной элите страны, кто, по отзывам наиболее проницательных умов, был вторым — после великого Камюэнса — писателем на протяжении всей истории португальской литературы и, бесспорно, первым — среди своих современников. Каким же Эса де Кейрош предстает сегодня перед нами, победителем или побежденным?

### I

Наиболее верный ключ к биографии Эсы (1845—1900) — художника искренней, по самой природе таланта, открытой исповеди — в его творениях. Роман «Семейство Майя» содержит сценку, бросающую свет на детские годы и автора и героя. У маленького Педриньо есть воспита-

тель — падре Васкес. Толстый и неопрятный, икающий из глубины кресла, падре экзаменует Педриньо:

— Сколько у души врагов?

— Три: мир, дьявол и плоть.

Той же рутине подчинялось воспитание в коллежах Порто и в Коимбре — старейшем университете страны.

«Над напоенной чистым и нежным воздухом Коимброй, — вспоминал Эса, — университет возвышался во всеоружии своего искусства подавлять и помрачать души с властностью, уничтожавшей внутреннюю силу сопротивления, фаворитизмом, приучавшим человека лицемерить и гнуть спину; с требованием дословности в передаче знаний; с устаревшим уставом, с перекличками, вселявшими казарменный ужас; с профессорами, в глазах которых всякое творчество пагубно... Университет, эта мать-воспитательница, alma mater, к которой до конца жизни обычно сохраняется студенческая сыновняя любовь, был для нас, — продолжал Эса, — мрачно насупившейся и ворчливой мачехой, от чьей опеки всякий независимый ум старался освободиться как можно скорее... В таком университете поколение, подобное нашему, могло находиться только в одном состоянии — в состоянии постоянного возмущения».

Чтобы такого рода университет стал для Эсы и его однокашников «школой политической революции», чтобы, испытывая гнет тирании, они научились «ненавидеть всех тиранов и брататься со всеми рабами», «чистый и нежный» воздух Коимбры должны были сотрясти грозные раскаты эпохи.

Словно по железным дорогам, из стран Европы в Португалию вливался поток; идей, систем, эстетических построений. «Каждое утро приносило свое откровение, как новое солнце. То появлялся Мишле, то Гегель, Вико, Прудон, то Гюго, ставший пророком и судьей над царями». Бальзак и Гете, Гейне и Дарвин производили, пишет Эса, действие факелов, брошенных в костер. Долетавшее из-за Пиренеев эхо европейского энтузиазма тотчас же находило отзвук в культе Гарибальди и освобожденной Италии, в сострадании к истерзанной Польше, в любви к Ирландии, матери бардов и святых, попираемой сапогом англосакса...

Если Эса вышел из средневеково-отсталой Коимбры, обретя бунтарскую отвагу мысли, значит, ему удалось одержать победу в одной из важных схваток. Но главным сражением, лишь исход которого определял победу или проигрыш в остальных битвах, была все-таки не Коимбра.

Конечно, совсем нетрудно представить первые опыты Эсы на поле жизни как серию непрерывных успехов. «Португальская газета» печатает его статьи и рассказы; в конце 1866 года недавно окончившего университет юношу приглашают редактором оппозиционной газеты «Эворский округ»; и там он пишет все, начиная с международного обозрения и кончая местной хроникой. Летом 1869 года вместе с братом своим

будущей жены — графом де Резенде — Эса отправляется в путешествие по маршруту Кадис — Мальта — Египет — Аравия — Иерусалим. В ноябре 1869 присутствует на открытии Суэцкого канала. Летом 1870 едет в Лейрию на должность председателя муниципальной палаты. И при этом ведя во всех отношениях полнокровную жизнь, не прекращает писать.

Вместе с Рамальо Ортиганом Эса публикует сатирические фельетоны «Колючки», печатает стихи, тратит избыток задора на «оглушительный» сенсационно-полицейский роман «Тайна Синтрской дороги», задача которого — «разбудить Лиссабон громкими воплями». «Тайна» имеет успех и в 1902 году выходит четвертым изданием, хотя задолго до того Эса напишет в предисловии к ней, что импровизировал вместе с приятелем эту книгу, не имея ни плана, ни метода, ни школы, ни материалов, ни стиля: «...ни один из нас — в качестве романиста или в качестве критика — не пожелает такой книги даже злейшему врагу. В ней понемногу от всего, что романист не должен был бы вносить в нее, и почти все, что критик должен был бы из нее изъять».

Можно ли в таком случае оценить первые литературно-практические опыты Эсы как удачи?

Рассказы в «Португальской газете» вызывали скорее раздражение и насмешку, чем интерес публики. Позднее и сам Эса назовет свои чересчур крикливые первенцы «Варварскими рассказами». Сомнителен и успех Эсы на посту редактора «Эворского округа». Газетенка ему смертельно надоела, так же, впрочем, как провинция и скудная адвокатская практика, оборвавшаяся проигрышем крупного дела. Нет, успешным этот дебют не назовешь.

Правда, из множества открывшихся и на ощупь испробованных Эсою направлений, как раз благодаря первым опытам, прояснялось то верное, по которому следовало идти. Эса останавливает свой выбор на дипломатическом поприще — оно нередко манит поэтов, надеющихся, что профессия дипломата позволит, не порывая связи с родиной, освободиться от ее удушающих объятий.

На первый взгляд, Эса здесь добивается победы.

По традиции, место консула предоставлялось по конкурсу. Осенью 1870 года Эса выдержал его превосходно, опередив остальных соискателей. Но когда открылась вакансия, предпочтение было оказано другому кандидату. Эса ломал голову, откуда такая немилость; причины ее раскрылись позднее.

Дипломатическая карьера началась в 1872 году: Эсу посылают консулом первого класса на Антильские острова. Пользуясь близостью к Новому Свету, Эса посещает Соединенные Штаты Америки. В 1874 году получает назначение в Нью-Кестль. В 1876 — в Бристоль. С 1888 года и до конца жизни, до 16 апреля 1900 года, Эса де Кейрош — генеральный

консул в единственном городе, который, как сказано в «Семействе Майя», давал дышать свободно, в столице страны, издавна привлекавшей Эсу и, по сути, превратившейся в его духовную родину, — в Париже.

Распахнув ворота в мировую культуру, профессия дипломата, очевидно, дала Эсе де Кейрошу позицию для наблюдений над современным миром, завоеванную умом и упорством духовную независимость, трезвость и широту кругозора. Но, говоря о спасительности дипломатической карьеры Эсы для его политико-социальной и художественной мысли, не следует забывать о разочарованиях, связанных с этой профессией. В главах «Семейства Майя» есть горькие строки о португальской дипломатии, суть которой в безделье и постоянном сознании собственного ничтожества.

Может быть, именно профессия дипломата заставляла резче, чем иная, ощущать пределы, которые немощная Португалия ставила перед своими творчески одаренными сынами. И, пожалуй, как раз генеральный консул страны, внимательно слушавший парижский пульс современности, должен был с болезненной остротой воспринимать унижительное положение отечества, так отличавшееся от великого прошлого.

Блестящие страницы истории, на которых были записаны подвиги Колумба и Васко да Гама, страницы, рассказывающие, как окраинная держава, далекая периферия Европы, вышла на магистраль морских путей, соединивших Старый и Новый Свет, читались теперь с восхищением, отравленным скорбью...

Каждый практический шаг доказывал Эсе, что единственной формой деятельности, где талант и личность обретут простор, остается литература. Увы, только литература — потому что целью была не одна лишь свобода личности и таланта. Вопросом вопросов была судьба Португалии, чей дух и плоть, словно раковой болезнью, уничтожался впадавшей в маразм монархией. Литература казалась единственной общественной трибуной, — с нее и повел сражение Эса де Кейрош.

## II

Сражение началось на ступеньках к трибуне. Чтобы подняться на нее, надо было сначала согнать предыдущего, грубо нарушившего регламент оратора: романтизм. Он давно уже бесстыдно повторялся, прикрывая отсутствие новых мыслей взвинченностью пафоса. Романтизм выглядел немощным, как сама Португалия, особенно на фоне литератур европейских. Но, при всей своей немощи, этот рутинный романтизм был вреден и живуч, как португальская монархия. Он стал охранительным, настороженным. Романтики шли друг другу на выручку, заслужив



прозвище: «Школа взаимного славословия». Победу предстояло завоевывать в бою нелегком, требовавшем сил, таланта, отваги.

Талант и смелость нашлись у молодых людей, составивших кружок, названный в подражание французским поэтам «Сенакль». Собирались молодые люди на квартире Ж. Батальи Рейса<sup>1</sup>. Вождем их стал Антеро де Кинтал. О том, как под влиянием Антеро формировались политико-социальные, эстетические идеи «Сенакля», Эса рассказывал:

«...Когда Антеро встретился с нашим дорогим, абсурдным «Сенаклем», собиравшимся в переулке Гуарда-Мор, здесь ревело и бесновалось адское пламя наших идей: смесь метафизики, революции, сатанизма, анархии, необузданной богемы... Антеро явился в Лиссабон как апостол социализма, принесший божье слово язычникам. Он обратил наши мысли к предметам более высоким и плодотворным. ...Под влиянием Антеро де Кинтала вскоре двое из нас, собравшиеся было сочинять оперу-буфф на тему о переустройстве мироздания... бросили это пустое дело и засели за Прудона. Из «Сенакля» до появления Антеро не могло бы выйти ничего, кроме зубоскальства, сатанических стихов, ночных попок и обрывков дешевой философии...» — Теперь члены «Сенакля» стали исповедовать Революцию, которая должна была наступить Завтра. Эстетическую революцию — во всяком случае. Их манифестом и боевым кличем стал памфлет Антеро, направленный против вождя романтиков Кастильо и провозгласивший «Здравый смысл и хороший вкус». За этим названием уже скрывалась программа «Демократических лекций в Казино», задуманных вроде бы с чисто просветительской целью — приобщить Португалию к происходящим в Европе событиям, ознакомить с проблемами современной философии и науки. На самом же деле смысл лекций был куда шире просветительских рамок:

«...Вокруг нас происходит процесс политического перерождения, и у всех есть предчувствие, что теперь резче, чем когда-либо, стоит на очереди вопрос, *как должен быть* преобразован общественный строй. Нам показалось необходимым, пока другие народы ведут революционную борьбу и прежде чем мы сами зайдем в ней принадлежащее нам место — с беспристрастием изучить смысл идей и законность интересов, на которые опирается каждая европейская *партия* и общественная группа».

Важна была не только программа лекций. Может быть, еще важнее было время, когда они задумывались, — весна 1871 года. Весна Парижской коммуны!

---

<sup>1</sup> С 1913 по 1918 год Ж. Баталья Рейс занимал пост португальского посланника в Петербурге и помог Г. Л. Лозинскому в составлении биографии, остающейся единственной значительной работой об Эсе на русском языке (см.: Эса де Кейрош, Собр. соч., т. I, изд. «Всемирная литература», М.—П. 1923).

Первые две лекции — 22 и 27 мая — прочел сам Антеро, говоривший о причинах упадка Пиренейского полуострова, о католицизме, абсолютизме, колониях. 6 июня Аугусто Сороменьо читает лекцию о португальской литературе и 12 июня Эса — о реализме.

Поскольку романтики носили ниспадавшие на плечи волосы, скорбно висящие усы и темный костюм, отвечающий меланхоличному настрою души, длинный и тощий Эса предстал перед аудиторией в полемически строгом, застегнутом на все пуговицы фраке, в белом жилете, лакированных башмаках, перчатках свинцового цвета. В подчеркнуто строгую форму Эса облек и свою взрывную концепцию.

Революция — душа XIX столетия. Она все преобразует своим напором, никто не в состоянии уйти от ее воздействия. «Дух времени — революция, а нынешнее искусство продолжает дело реакции». Французская революция 1789 года была делом рук литературы: армия писателей — от Рабле до Бомарше — сомкнутым строем отважно выходила на бой против мистицизма и аскетизма, пока не добилась победы, чтобы потом отречься от своего собственного творения... Вторую империю, возникшую на развалинах 1848 года, Эса расценивал как эпоху развращенных скептиков и низменных материалистов. «Роскошь задушила достоинство», родился отвратительный мир кокоток. И под стать ему — распутная бульварная литература.

Но нарастает протест против фальши, раздаются требования, чтобы искусство вернулось к действительности.

Реализм, именно реализм, настаивал Эса, искусство сегодняшнего и, наверное, завтрашнего дня. Реализм — это отказ от всего лживого, пустого, нелепого, это изгнание всякого рода риторики. Переход на позиции реализма — вот единственное спасение для португальского искусства. В противном случае, изменив революции и губя нравы, оно неизбежно погибнет, как только пробудится совесть народа...

Разумеется, лекции были запрещены правительством. Властям казалось, что восставший пролетарий уже выглядывает из-за спины Антеро, к тому времени — члена I Интернационала. Разумеется, не помог и протест против запрета лекций, опубликованный в лиссабонских газетах за тремястами подписей, — среди них была также подпись Эсы де Кейроша. Кстати сказать, именно из-за лекций должность консула, на которую рассчитывал Эса, была отдана другому. Эса пошел в атаку, напечатав в очередном выпуске «Колючек» дерзкое размышление о причинах, по которым не получил должности консула:

«...Я стал наводить справки и узнал, что правительство, действительно, считает меня: 1) главой республиканцев. 2) клубным оратором, 3) организатором забастовок, 4) агентом Интернационала, 5) эмиссаром Карла Маркса, 6) представителем рабочих ассоциаций. 7) сообщником парижских поджигателей, 8) убийцей господина Дарбуа, 9) тайным ав-

тором прокламаций, 10) содержателем склада бензина, 11) бывшим каторжником, и наконец — 12) за мной всегда ходит по пятам агент полиции.

Нет господа министры, нет! — восклицает Эса. — Если вы хотите задушить Интернационал, то обратите свои взоры на кого-нибудь другого я не подхожу для роли вешалки, на которую наденут красный колпак чтобы доставить картинную победу кабинету министров.

Может быть, шептали мне с таинственным видом, виновата лекция, в которой я порицал искусство для искусства, романтизм, беспочвенный идеализм, погоню за красотой? Неужели господа министры думают, что цель реализма — устроить забастовку в Оейрас? Неужели они полагают, что любимейшее занятие литературного критика — поджигать здание парламента? Или они считают, что Генриха IV убил Буало? Или что главнейшая цель Интернационала — искоренить романтизм? Неужто они пребывают в убеждении, что задача семнадцати миллионов рабочих, вошедших в Интернационал, — причинить неприятность Ламартину?.. Нет, о родина, нет! Если я могу удостоиться чести служить тебе, только при условии, что буду читать и любить оды господина Видадя... Нет, о родина, нет! Благодарю, но это выше моих сил».

Таковы уж парадоксы капризной португальской жизни, что памфлет возымел действие. Именно в это время сменился кабинет, и новый министр иностранных дел, эффектно демонстрируя либерализм, представил Эсе консульскую должность на Кубе.

Переход на позиции реализма предполагал, конечно, и пересмотр эстетических ценностей, и смену авторитетов, и новую национальную ориентацию в искусстве Европы. Переход к реализму требовал независимости в сфере идей и вкусов, достичь которой было не легче, чем независимости в практической жизни. Свобода мысли могла быть добыта тоже лишь в неустанном преодолении рутины.

В написанной около 1890 года и для парижского дипломата чересчур откровенной, а потому напечатанной лишь посмертно статье «О французском засилии» Эса с иронией и горечью вспоминал, что, когда он начал делать первые шаги, вокруг него возникла одна лишь Франция. Младенца принялись учить грамоте, и озабоченное этим государство вложило ему в руки книжку — но это была повесть, переведенная с французского. Потом юноше пришлось подыматься на голгофу экзаменов, но главное, что интересовало профессоров в Коимбре, — говорит ли он по-французски. Столица — и та словно стремилась доказать, что нет в ней ничего национального. В театрах — только французские комедии, в магазинах — французское платье, в отелях — французская кухня. Для читающей публики — французская литература.

Повторяя в ученическую пору уроки мэтров, молодой писатель, как водится, переболел детской болезнью, но переболел довольно быстро.

Уже на первых порах и даже в подражаниях он проявлял самостоятельность. В отличие от доморощенных наставников, Эса вторил не водянистым стихам Ламартина, а первому среди романтических мастеров социальной иронии — Генриху Гейне. Ориентация на лирико-фантастическую и философскую новеллу немецких романтиков была в какой-то мере тоже формой проявления независимости таланта: бунтуя против рабского равнения на Францию, Эса искал новые пути в сфере немецкой мысли.

Поиски продолжались и на Британских островах. Четырнадцать лет, проведенные в Нью-Кестле и Бристоле, дали возможность органично усвоить завоевания английского реалистического романа, из школы которого Эсе ближе всего был Диккенс. Впоследствии Эса назовет литературу Англии «несравненно более богатой, более живой и оригинальной, чем литература французская».

Но, бунтуя против французского засилия, Эса все же никогда не порвет узы, связавшие его с Францией. И дело здесь не столько в том, что воспитание, данное в детстве, придавало им особую прочность. Не только в том, что историк Мишле и социолог Прудон, поэты Бодлер и Леконт де Лиль были восприняты Эсой в молодости как откровение. Что Эсу покорили универсальный гений Гюго и проза Флобера. Верность Франции была продиктована всей логикой художественного развития Португалии и европейских литератур.

Насколько мощным был взлет немецкого гения в эпоху «классическую», когда творили Гете и Шиллер, Гегель и плеяда романтиков, настолько же резким оказался упадок литературы в Германии после революции 1848 года. Вплоть до конца столетия немецкая проза не дала великого романа, который мог бы соперничать с творениями, появлявшимися по ту сторону Рейна или на берегах Темзы. Между тем все более властной политико-социальной потребностью, все более осознанной эстетической необходимостью становился для Португалии тот сурово-критический, жаждущий сути, а не иллюзий реализм, который провозглашали своим девизом Бальзак, Флобер, Золя.

Именно французская литература осталась поэтому первой и главной наставницей Эсы. Надо лишь помнить, что отношение к ней эпитонов португальского романтизма и основателя реалистической школы в корне различно. Первые смотрели на Францию снизу вверх, подобострастно, — Эса берет у нее уроки, не теряя независимости и достоинства, подчиняя благоприобретенный чужестранный опыт отечественной цели. И бесспорное свидетельство тому — роман, подготовленный идеями, выношенными в «Сенакле», высказанными на лекциях в «Казино», выстраданный на протяжении почти пятнадцати лет, отделивших начало литературного ученичества от зрелости.

### III

Слова Вольтера о религии — «Раздавите гадину!» — могли бы стать эпиграфом к «Преступлению падре Амаро». Трижды возвращаясь к сюжету, не отпуская мысль и сердце со студенческих лет, Эса в каждой новой редакции критичней, жестче, яростней относился к главному герою и окружавшим его святошам. Эса уверен, что слуги отца небесного вреднее для страны, чем ее земные владыки. И что сегодня, как века назад, католицизм остается для Португалии главной опасностью. Эса выходит ей навстречу.

...На рассвете Лейрия узнала, что известный своим обжорством соборный настоятель скончался: удав не переварил рыбы, которую заглотал за ужином. Его не жалели: рыгавший в исповедальне падре Жозе Мигейс был мужланом с повадками землекопа и хриплым голосом, с грубыми ручищами и торчащими из ушей жесткими волосами... Таков облик первого церковника и одновременно первого персонажа, с которым Эса знакомит читателя. Многим ли лучше второй?

Декан кафедрального капитула Валадарес, в отличие от Жозе Мигейса, сухопар, длиннонос, близорук. Настолько близорук, что не видит преступлений, совершаемых под его носом.

На третьего священника стоит взглянуть внимательней, он играет в романе немалую роль. Сутана, обтягивающая большой живот, набрякшие под глазами мешки, жирные губы... Портрет каноника Диаса будто списан «из старинных историй про сластолюбивых и прожорливых монахов». Между внешностью каноника и его внутренней сутью полное единство формы и содержания. Настолько же полное, насколько очевиден разлад между словами его и делами. Дружок пышногрудой Сан-Жоанейры — содержательницы пансиона для холостяков — еще в семинарии преподавал юному Амаро Виейре христианскую нравственность.

В книге создана воистину галерея священнических портретов, среди которых выделяется своей живописностью портрет групповой. Его можно озаглавить: «Званный обед у аббата из Кортегасы». Кажется, что распятый медный Христос, стоящий на комоде, должен страдать не столько от ран, сколько от вида сидящего перед ним «Христова воинства». Во всей своей красе оно предстало, однако, не в час утешения плоти, а в мгновение опасности.

Тут уж напрасно увещевать, что долг христианина прощать обиды. «Кости переломаю! Измордую! Дух вышибу!» — рычит самый глупый в епархии падре Брито, услышав намек на его шашни со старостихой. Бесплезно звать и к милосердию злющего хоряка Натарио, выследившего, какой это «Либерал» настроил заметку в «Голос округа»: «Для нечестивцев нет милосердия! Инквизиция выжигала их огнем, а я буду

вымаривать голодом. Все позволено тому, кто борется за святое дело». «Святое дело» же сводится для падре Натарио к не менее священному принципу: «Не надо было трогать меня».

Перед нами не духовные пастыри, а члены шайки. И они вдвойне опасны, даже грозны, ибо все-таки ведут за собою, как пастыри, стадо фанатиков и фанатичек, способное затоптать каждого, кто попадет ему под копыта.

Эсе почти физически отвратительны злобные кумушки, на которых в Лейрии держатся небеса и земля.

Дону Марию де Ассунсан он награждает хроническим насморком, костлявыми руками, бородавкой на шее с торчащим из нее пучком волос, привычкою дергать головой и, улыбаясь, приоткрывать огромные зубы, которые сидят в деснах, «как вбитые в дерево железные клинья». Эса не пожалееет доне Марин драгоценных перстней, золотых очков, броши на массивной золотой цепи, свисающей от шеи до пояса, лишь бы на этом золотом фоне уродство выглядело еще отвратнее. Эса превратит гостиную доны Марии в какой-то склад святынь, где пресвятые девы в одеждах из голубого шелка теснятся на комодах рядом с толстенькими младенцами Христами и святыми Себастьянами, утыканными со всех сторон стрелами: где громоздятся четки из металла, из цветных бусин, из маслинных косточек; где хранится подлинная шепка от креста господня и реликвия из реликвий — обрывок пеленки младенца Христа, чтобы, завершая портрет, невзначай обронить в конце романа: дона Мария взяла в дом молодого лакея, который раньше был плотником и жил напротив. Теперь парень отъелся, ходит этаким фертом, сигара, часы, перчатки.

Никому из ханжей, лишь прикрывающих набожностью пороки, Эса не даст уйти от разоблачения. Даже усерднейший Либаниньо, который появляется на страницах романа, всегда задыхаясь от спешки, суеться и попискивая, — «завтра святой Варваре надо раз шесть, не меньше, прочитав «Отче наш», — который пропадает в казармах, рассказывая солдатикам о страданиях господя нашего Иисуса Христа, в итоге раскрывается со своей нефасадной стороны: поздно вечером в Тополевой аллее его ловят с сержантом и в такой позе, что, увы, не остается сомнений... Так дается фон картины, в центре которой — падре Амаро.

Эса наносит ему свои удары, начиная с легких, но точных уколов.

Сын камердинера и горничной? Что ж, не винить же сиротку. Тем более, что малыш воспитан в доме маркизы де Алегрос, превратившей бога в свое единственное развлечение; среди служанок, втягивающих ребенка в интриги и сплетни; рядом со столь же религиозными, сколь элегантными дочерьми маркизы, день-деньской обдумывающими туалет, в котором они войдут в царство небесное. В конце концов бывает воспитание и похуже — например, в лавке у дядьки-бакалейщика, где подро-

ший «осел», «лопух» Амаро с пяти утра отработывал скудный кусок хлеба.

Прослеживая истоки характера, Эса добирается тем самым до корней преступления, в котором виновны или замешаны: семинария, куда Амаро отдали, не спрашивая о желании, И где его научили зубрить бессмыслицу: низко кланяться, выслуживая отметки, подчиняться, как овца, движению стада; священническая каста, со своим отнюдь не евангельским кодексом, согласно которому «все позволено», что не вредит кастовым интересам; строй, который поддерживает эту касту, потому что каста поддерживает этот строй.

Падре Амаро дозревает до своего преступления постепенно. Согрешив с коровницей Жоаной в хлеву, на куче соломы, он поначалу в ужасе от своего скотства и боится войти в церковь — ведь нарушен обет! На первых порах влечение падре Амаро к Амелии не отравлено лицемерием и холодным циничным расчетом. Но вот он подсматривает сценку между каноником Диасом и Сан-Жоанейрой, проходит школу клеветы у падре Натарио... Чем дальше, тем больше усиливается теперь тоска о временах, когда власть церкви не уступала власти государства и на улицах зажигались костры инквизиции, чтобы в страхе перед пыткой и казнью содрогались бы все, кто обладал счастьем любви, недоступным для него, соборного настоятеля.

Падре Амаро гнетет не одно лишь изнурительное томление плоти. Всегда и всюду он покоряется чужой воле, подчиняется «сеньору епископу, епархиальному совету, канонам, уставу», с утра до ночи он обязан поклоняться богу. Для Амелии — он сам становится богом, как будто беря реванш за прошлое. Наслаждаясь ее запретным телом, он словно возвращает себе свободу, торжествует над «вольной» частью рода человеческого, над каждым из мужчин, кто, не нося тонзуру священника, как бы отнимал его долю счастья.

Торжество падре Амаро отравлено страхом. Он дрожит, что его деспотической власти над душою и телом Амелии придет конец, и он сам нагоняет страхи и ужасы на эту смятенную душу. Чем сильнее страсть падре Амаро, тем очевиднее, что чувство его не может быть истинным, искренним. Запретная любовь католического священника уже по уставу церкви и по условиям жизни, ему предначертанным, не может не быть лицемерной, лживой, циничной.

Последний мазок, последний штрих к портрету героя — встреча каноника Диаса с падре Амаро в Лиссабоне, у памятника Камозэнсу. «Вот бы кого тебе поисповедовать», — тихо сказал каноник, провожая взглядом барышню с девственной талией. «Прошли те времена, учитель, — усмехнулся падре Амаро, — теперь я исповедую только замужних».

Итак, падре Амаро вполне усвоил правила игры. Португальский «милый дружок» исполняет теперь уже привычную роль в грязном спек-

такле, который провинция и столица разыгрывают с благословения церкви. Хранитель прогнивших устоев и враждебного живой жизни порядка, падре Амаро теперь клетка, молекула преступно-циничного общественного организма, источающего как продукт своего гниения — мракобесие и лицемерие.

Эса отчетливо видит: сила реакции — в слабости противника. Тусклый мыслью, трусливый падре Амаро, равно как весь лагерь ханжей и святош, не одержал бы верх, если бы те, кто бросает им вызов, действительно воплощали в себе — как им кажется — отвагу и мощь прогресса. Увы, лицемерие — порок универсальный.

Эса знает цену прогрессистам Лейрии. И склонен судить «своих» порою строже, чем клерикалов. Росчерком пера расправляется он по этому с дядюшкой Патрисио, владельцем лавки на Базарной площади, либералом из «ветеранов», чья историческая миссия — глухо рычать вслед проходящим мимо священникам. Поэтому больше всего достается «Кавуру здешних мест», вождю прогрессистов Лейрии, самому доктору Годиньо.

«Могучий интеллект», «светлая душа» и проч. и проч., как уверяет в каждом номере «Голос округа». Но недавний редактор «Эворского округа» Эса великолепно знает цену и комплиентам прессы. Не обремененному совестью писаке, чье бойкое перышко эти комплименты разбрызгивает, Эса жалуется прозвище «горбун», причем скорее за искривленную душу, чем искривленную спину. Опору порядка и власти, неременного секретаря Гражданского управления Гоувейю Ледезму, когда-то известного в лиссабонских борделях под кличкой «Биби», а теперь изрекающего, окутавшись облаком государственной тайны: «Доктор Годиньо отдает должное правительству, а правительство отдает должное доктору Годиньо», — Эса аттестует словечком «пустобрех».

«Пустобрех» — вот найденное слово, нужды нет, что пришло оно на ум падре Натарио. Когда неременный секретарь, зная, что такое падре Натарио, падре Брито и другие, толкует насчет религии «либеральной», гармонирующей с прогрессом, с наукой, — он пустобрех. Когда доктор Годиньо, приняв величественную позу, изрекает гневные слова насчет материализмов-атеизмов и торжественно заверяет, что пусть Европе предадут огню и мечу, но в Лейрии, пока доктор Годиньо жив, вера и порядок неприкосновенны, — он остается напыщенным, отвратительным пустобрехом и таким же ханжой, как худший из клерикальной братии и любой из раздутых водянюкой величия поборников лейрийской свободы. Но забыть бы среди них аптекаря Карлоса, фигуру ничтожную, которая именно по этой причине оказывается законченным воплощением местного либерализма, его карикатурной отваги, грошового пафоса и заодно — верноподданной ненависти к «фанатикам-республикан-



цам»: аптекарь «почти готов» отпустить им синильной кислоты вместо своих благотворных микстур, высшего достижения науки.

Наборщик из «Голоса округа» Густаво — образ такого фанатика-республиканца. Образ, окрашенный ласковой, добродушной иронией, четко отделяющей его от либералов.

Знаменательна уже профессия Густаво.

Отправившись во Францию учиться социализму, Антеро де Кинтал тоже поступил в наборщики, причем в ту типографию, где работал наборщиком Прудон, чтобы как можно больше узнать об «Учителе» и взглянуть на окружающее его глазами. Еще более знаменательна мечта Густаво вступить в Интернационал, присоединиться к братству народов, для которого нет ни португальцев, ни испанцев, никого и ничего, кроме справедливости... В 90-х годах, вспоминая о своей молодости, Эса писал: «Моим желанием было примкнуть к Интернационалу».

Проклятия, которые Густаво шлет Наполеону III, русскому царю, поработителям Польши, угнетателям народа; максимализм, с которым он клеймит любовь и семью (ведь в такую минуту, когда надо вызволить труд из когтей капитала, гоняться за юбкой — значит стать изменником!); юношески нетерпеливая вера, что Революция начнется Завтра — и тогда он ворвется с ружьем в ресторан к дядюшке Озорию, где сейчас осушает с Жоаном Эдуардо третий графин вина, развивая идеи, — все это во многом идеи самого Эсы и его друзей из «Сенакля».

Наборщик-республиканец, конечно, далек от учения Маркса. Он еще на стадии утопических мечтаний, и ближе всего ему, очевидно, анархический социализм Бакунина, как раз в ту пору особенно распространенный в романских странах. Однако, помимо смутных идей, есть у Густаво и доброе сердце. Он единственный, кто готов искрение и немедленно помочь безутешному жениху, потерявшему и невесту, и работу. Его ли вина, что в карманах нет девяти милрейсов, нужных для покупки печатной бумаги? Несчастных и проклятых девяти милрейсов, к сожалению, необходимых, чтобы набрать текст трактата, которым Жоан Эдуардо повергнет наземь иезуитов и духовенство, административную власть папства и всю церковь.

Поскольку девяти милрейсов все-таки нет, Жоан Эдуардо остается жертвой религиозной реакции и той интриги, которую осуществили в Лейрии святоши «под сенью старого собора», как пишет Эса, определяя в предисловии тему романа. Жоан Эдуардо обречен быть жертвой интриги и реакции, своего горячего чувства и холодного равнодушия Амелии, как всегда обречен в романах и в жизни добрый малый, «маленький человек», попадающий в волчью стаю.

Жоан Эдуардо непосредственно противостоит падре Амаро. Оба молоды и приятной наружности, оба влюблены в Амелию и пытаются

всеми средствами удержать избранницу. Либерал ли он? Непременно, раз его соперник падре Амаро — святоша. Но свободомыслие Жоана Эдуардо еще более робко, чем прогресс Португалии. Столь грозный для священников атеизм влюбленного переписчика не посягает на веру в бога, отступает перед верою в первородный грех, не вызывает даже сомнений в загробной жизни. Как же может подобный атеизм не спасовать в самых невинных схватках с церковью? Даже победоносный удар в плечо, нанесенный при встрече с падре Амаро на площади, удар, оцененный аптекарем Карлосом как следствие заговора атеистов, республиканцев, рационалистов и как симптом начинающейся социальной революции, имеет своим источником помянутые уже три графина — слишком тяжелые для слабенькой головы Жоана Эдуардо.

В романе развенчаны, следовательно, оба лагеря. И хотя, меняя направление справа налево, от святош к либералам, сатира нет-нет, а становится добродушнее, все же ясно: Эса де Кейрош не склонен примыкать ни к левым, ни к правым. Он одинаково далек от провинциально-ограниченных позиций обоих лагерей. Его мысль подымается на другую ступень, тяготеет к иной, более высокой сфере.

Во время родов Амелии, у ложа жизни, ставшего для нее ложем смерти, встречаются аббат Ферран и доктор Гоувейя. У последнего репутация самого отпетого из бесстыдников, или покрепче, репутация бандита, которому в преисподней давно уготовано жаркое местечко. И доктор заслужил его, очевидно, больше, чем кто-либо в Лейрии. Ему не нужны ни священники на земле, ни бог на небе. Церковь для него — инородное тело в обществе, препятствующее развитию человечества. По убеждению доктора, клерикальное воспитание враждебно не только современности, но самой природе и разуму. Доктор — материалист трезвый, верный науке, наблюдению, опыту. И на доктора не распространяется ирония. Перед лицом смерти, как испокон веку требует истинное искусство. Эса серьезен. Кажется, вывод ясен: именно в докторе Гоувейе и раскрывается позитивистский и позитивный идеал писателя. Но...

Амелия умерла, и в последние минуты трезвая наука оказалась явно бессильной. Мало того, многоопытная Дионисия, двадцать лет принимающая роды, обвиняет доктора в страшной ошибке, граничащей с убийством. Случайная деталь? Но может ли быть случайной в строго расчисленном и трижды переработанном романе такая «деталь», как смерть Амелии? Конечно, за нею стоят логика, закономерность: когда Жоан Эдуардо приходил к доктору Гоувейе молить о помощи, он не унес ничего, кроме трезвых рассуждений. Да и во время родов доктор больше разглагольствует, чем помогает роженице... Нет, позитивист-доктор для Эсы все же не позитивный идеал. В докторе, уже по про-

фессии своей гуманисте, как будто разделившем с аббатом Ферраном заботу о духе и плоти грешной и страждущей Амелии, или иначе — о грешном и страждущем человечестве, Эсе недостает как раз гуманизма — деятельного добра. Вот почему последнее слово в романе представляется добродетельному аббату Феррану, старенькому священнику в покрытом заплатами подряснике.

Правда, поговаривают, что падре с «заскоками». Сколько раз уже сменились епископы, а он по-прежнему служит в нищем приходе, куда жалованье запаздывает и где жилище затопляет после дождя. Довольствуется он двумя кусками хлеба и кружкой молока на день, но в его кармане всегда монетка, приготовленная, чтобы одолжить соседу. В его часовенке природа рядом с богом, через открытые двери залетает ветер, на пороге резвятся дети, воробьи чирикают у самого подножья крестов.

Так что же, под конец боя у Эсы иссякла ярость? Или Эса дрогнул перед противником и ввел «хорошего священника», чтобы, свалив вину на «отдельных плохих», оправдать тем самым церковь, религию, веру? Или в романе торжествует идеал руссоистско-толстовского опрощения, скорее этический, чем религиозный? Или же, наконец, решающая ставка Эсы на тех бескорыстных чудаков, которые со времен Дон-Кихота не раз уже преподносили истину жизни?

Страницы, посвященные аббату Феррану, действительно дают повод думать, что «Падре Амаро» роман скорее антиклерикальный, чем антирелигиозный. Закоренелые безбожники в романе — это как раз каноник Диас, падре Натарио, циники, которым ничто не важно, кроме утробы и шкуры.

Итак, побеждает добрый, почти святой Ферран? Не стоит спешить с ответом. Слишком уж бессилён и жалок при всем своем голубоватом сиянии победитель. Нигде, кроме нищей, заброшенной деревушки, нельзя представить себе аббата с его голубиной чистотой. Его усилия противостоят злу беспомощны: Амелия погублена, надежда выдать ее после родов замуж за Жоана Эдуардо — во всех отношениях сомнительна, так же как победа падре Феррана, которая практически очень похожа на поражение.

Печальный итог? Пожалуй, но ни лгать, ни мириться с ним Эса де Кейрош не хочет и не может.

За пределами Португалии, в Париже, происходят исторические события: «Коммунары! Версаль! Поджигатели! Тьер! Злодейство! Интернационал!» — кричат газетчики. На фоне парижского зарева, по-новому осветившего Лиссабон и преступного падре Амаро, «под холодным, бронзовым взглядом» великого Камюэна последняя сцена романа обретает символический смысл. В Португалии, как в воздухе, нуждающейся в свободе, все-таки есть надежда, зовущая в бой!

#### IV

В ноябре 1877 года Эса сообщает Рамалью Ортигану, что «Кузен Базилио» закончен, а в январе 1878 года пишет своему издателю Шардрону, что собирается приступить к созданию двенадцатитомной серии, напоминающей «Ругон-Маккаров» Золя и озаглавленной «Сцены португальской жизни». Первый роман «Столица», затем почти законченная «Катастрофа в переулке Калдас» и уже выношенный том о военном и политическом крахе Португалии. Здесь будут показаны революционный кризис, война, оккупация...

Эсу самого пугает обширность и острота замысла. Какое обвинение португальской политике! Правящая партия, люди, назначившие его консулом, министры, у которых он был в подчинении, — все будут выведены, все будут нести бремя ответственности: ибо они виновны в катастрофе, которая неминуемо постигнет Португалию. «Я хочу устроить сильный электрошок спящей свинье (я имею в виду нашу родину), — пишет Эса Рамалью Ортигану. — Ты скажешь: да какой там шок? Наивное ты дитя! Свинья спит. Можешь устраивать ей сколько угодно электрических шоков, свинья будет по-прежнему спать. Судьба баюкает ее и напевает: «Спи, усни, моя свинья...» Это, конечно, верно, но я сообщаю тебе о том, что намерен делать я, а не о том, что будет делать родина.

Через два месяца, 12 марта, Эса напишет Теофилу Браге: «Если есть на свете общество, которое нуждается в художнике-мстителе, то это наше современное общество».

Однако шли годы, а родина спала. И дрема Португалии не могла не сказаться на осуществлении замыслов художника-мстителя. Время накладывало на него свою печать.

На исходе 80-х годов с улиц и стен Парижа — а именно здесь теперь жил генеральный консул — уже исчезли следы баррикадных боев Коммуны. Ровно столетие прошло с той поры, как в 1789 году штурмом Кастилии началась самая грозная и величественная из французских революций. Республика встречала эту дату ослепительными торжествами, будто одной лишь помпезности не хватало для подтверждения, что свобода, равенство и братство теперь-то уж наконец завоеваны, а революция, слава богу, позади.

По дантовскому исчислению, сорокалетний Эса в ту пору уже вступил во вторую половину жизни; по воле судьбы — приближался к концу, совпавшему с концом века.

И для эпохи, и для художника наступала пора итогов. Итогов, не оставлявших места ни для каких иллюзий: в 1891 году покончил самоубийством Антеро де Кинтал.

Проза Эсы становится в эти годы философичней. Мысль его тяготеет к обобщениям, подымающимся над подробностями. Ему становится

вновь мила романтическая фантазия, отвергнутая когда-то из сознания литературного и общественного долга. Небеса романтики влекут Эсу, словно задохнувшегося в провинциальной Лейрии, в буржуазно-мещанской среде Лиссабона, изображенной в «Кузене Базилио». Признанием звучат строки Эсы о португальском художнике, привыкшем к путешествиям по стране идеала: «...если бы ему не удалось по временам убежать в голубую даль, он скоро исчах бы от тоски по химере. Вот почему даже после победы натурализма мы еще пишем фантастические рассказы, настоящие фантастические рассказы с привидениями, где, перелистывая страницу, встречаем черта, милого черта, это очаровательное пугало католических детей. И тогда, по крайней мере на протяжении тома, не чувствуешь отягощающего подчинения истине мук анализа, несносной тирании реальности. Мы во власти эстетических вольностей. Мы золотим свои эпитеты. Мы пропускаем фразы по листу белой бумаги, как процессию, забрасываемую розами... Но последняя страница дописана, последняя корректура просмотрена, и мы спускаемся с облаков на мостовую, вновь принимаясь за тщательное изучение человека и его беспредельных страданий. Довольны ли мы этим? Нет, мы подчиняемся необходимости».

В емкой притче «Мандарин», сюжетно восходящей к «Отцу Горио» Бальзака, к Руссо и открывающей творчество Эсы 80-х годов, есть черт, привидение и фантазия. Черт искушает Теодоро позвонить в колокольчик — тогда в Китайской империи умрет престарелый мандарин, который оставит Теодоро несметные сокровища. Бедняга-переписчик звонит и вместе с фантастическими богатствами, путешествиями, приключениями, вместе с возможностью вести «сладкую жизнь», наслаждаясь всем благом и злом цивилизации, получает в наследство преследующее его привидение — убитого мандарина. Разумеется, Теодоро прекрасно сознает, что небо и ад — «концепции для простого народа», что бог и дьявол — «чисто схоластические фикции». Но однажды, когда исчезает надежда на помощь людскую, а угроза кажется смертельной, он вдруг ощущает «необходимость божества». Мораль этой емкой притчи, удивительно перекликающейся с мотивами Достоевского, изложена в коротком заещании Теодоро: «Вкусен лишь тот хлеб, который, работая день за днем, мы добываем собственными руками. Никогда не убивай мандарина!» И еще, пожалуй, в иронической, скорбной концовке автора: «Так-то, мой читатель, создание, задуманное богом, неудавшееся произведение из негодной глины, двойник мой и брат мой».

Древний мир и современность, фантазия и реальность, земля и небо, сатана и бог — все переплавил Эса в романе «Реликвия» (1889). Начинается он с мелодий, как будто знакомых со времен «Падре Амаро», В доне Марин де Патросинио, сухой, как прошлогодняя лоза, фанатичке с желтым лицом и униженными перстнями пальцами, угадывается, ее

сестра по духу и плоти дона Мария де Ассунсан. Теодорико Рапозо близок падре Амаро хотя бы тем, что тоже страдает от бурных порывов чувственности, вступившей в непримиримый разлад с религией. Есть в романе и доктор, правда, Боннского университета, историк, что не мешает Топсиусу, автору по-немецки ученого семитомного труда об Иерусалиме и других столь же тяжелых фолиантов, быть позитивистом не хуже, чем португалец Гоувейя. Вместе с соломинками из яслей, где нашли божественного младенца, и гвоздями, когда-то вбитыми в крест и в тело спасителя, вместе с кусочками кувшина богоматери, подковами осла и пр. в «Реликвии» упоминаются и пеленки Иисуса Христа, ничуть не уступающие тем, которые хранила первая дона Мария — из «Преступления падре Амаро».

По дешевке торгует теперь пеленками, подковами, святой водицей безутешный Рапозо, лишенный наследства своей лютой теткой доной Марией за то, что чувственность предпочел святости. Рапозо не вызывает уже ни гнева, ни отвращения, как падре Амаро. Скорее жертва, чем победитель, он явно заслуживает снисхождения: плутовские его уловки ради наследства даже не назовешь лицемерием — так честно исповедует он естественную религию плоти, несовместимую со злобной и фанатичной религией ее умерщвления.

Наивный, грешный плутишка Теодорико, так же как сопровождающий его в Иерусалим и в древнюю Иудею, перегруженный всесветной эрудицией носильщик разума Топсиус, получает в романе комедийную и служебную роль.

Главный, истинный, трагический герой «Реликвии» — Иисус Христос.

Кроме имени, у него нет ничего общего с тем мраморно-золотым, бесчувственным идолом, поклоняться которому заставляли Рапозо. Мало того, молодой плотник из Галилеи, деревенский мечтатель, собравшийся переделать мир, воинственно полемичен традиционному образу искупителя, какой тысячелетия навязывает церковь. Вслед за Эрнестом Рена-ном, вслед за автором знаменитой «Жизни Иисуса» Давидом Штраусом и другими учеными и писателями, продолжившими труд родоначальника рационалистической критики Евангелия С.-Г. Реймаруса, Эса де Кейрош отрицает божественность Христа и дает не религиозную, а историческую, художественную, социально-этическую трактовку древнего мифа. Вольтерьянская атака на католичество ведется в «Реликвии», по сути, гораздо решительней, чем в «Преступлении падре Амаро». Из Лейрии Эса де Кейрош подымается к истокам, проникает в самое сердце христианства, избирая мишенью не рядовых служителей, а того, кому служат...

В апреле 1878 года Лев Толстой, обращаясь к И. П. Страхову, писал, что Ренан пытается изложить вневременную, абсолютную истину

как нечто историческое и временное. Толстого возмущало, что Ренан копается в песке, вместо того чтобы брать уже промытое из него золото... Толстой был прав, негодуя против «песка», — на нем не построишь религию. Эса де Кейрош тоже рыхлит «песок», понимая, что выросшая на нем религия — все-таки самый надежный фундамент для уродливого сооружения реакционно-деспотической португальской — да только ли португальской? — власти.

Но одним лишь отрицанием церковного Христа образ, выписанный Эсой в романе, не исчерпывается. Главная идея, которая, собственно, и рождает трагическую силу образа, — это идея «лишнего человека».

Христос ненавистен каждой из трех партий, разделяющих власть над умами в Иудее. Ненавистен богатым и знатным саддукеям — потому что проповедь его обращена к обездоленным. Ненавистен zelотам, последователям бесстрашного Иуды Маккавея, потому что проповедью своей отвергает священную войну против Рима. Ненавистен фарисеям — потому что, пророк и безумец, он посягнул на нерушимый Закон Иеговы — бога первого, вечного и последнего, только верность которому спасет Иудею.

На что уж снисходителен синедрион, вынесший за семь лет всего лишь три смертных приговора, но и он не уступает в гневе толпе, которая в ответ на слова Иисуса — «Царство мое не от мира сего» — завопила: «Так вон его из этого мира». Варавва, разбойник, совершивший убийство, милее мытарям и нарумяненным тивериадским проституткам, чем Иисус, проповедующий добро и любовь к людям. Смерти его требует, надрывая глотку, даже тот, из Капернаума, еще в субботу — сухорукий и недужный, целовавший Иисусу сандалии и слезно моливший: «Равви, исцели меня!»

По мысли Эсы де Кейроша, мечтатель из Галилеи, как всякий трагически чистый мечтатель, всем, всегда и везде оказывается лишним: когда казнь свершилась, саддукей, довольный, что победил Иегова и древний порядок, бросает толпе: «На холмах, по счастью, всегда хватит места для крестов!»

Следующий роман — «Семейство Майя» — начинается описанием мрачного особняка в Лиссабоне, где после долгих лет отсутствия снова обосновался старый Афонсо де Майя. Когда-то он слыл самым яростным якобинцем Португалии, читал энциклопедистов, Руссо и Вольтера, теперь же забыл про ненависть к духовенству и преклонение перед республикой, которую хотел основать. На старости лет Афонсо де Майя уже не требует от Лиссабона героев вроде Катона и Муция Сцеволы. Он любит старую куртку и старое кресло у камина, старые книги и старого кота, а не выносит лишь ограниченные, циничные, не стесняющиеся в средствах правительства, за что и получает долголетнюю ссылку в Англию. Надежды его связаны с внуком — Карлосом Эдуардо. Надежды

великие уже потому, что позади — великие разочарования, а еще по той причине, что красавец Карлос был создан богом в минуту редкостного подъема и наделен всеми талантами.

Избрав профессией гуманную, полезную медицину, Карлос в студенческие годы читает Прудона, Конта и Спенсера, занимается гимнастикой и фехтованием, погружается в музыку, искусство, литературу. Но вот закончена Коимбра, совершены путешествия в Рим и Москву, в Пекин и Лондон, в Америку и Японию, уже позади нелегкий сердечный опыт, а давняя мечта — стать гордостью нации — дальше от осуществления, чем когда-либо прежде. Единственное, что можно делать в Португалии, приходит к выводу Карлос, разводить овощи и ждать революции, которая выдвинет людей сильных, живых, самобытных. И хотя старик Афонсо, истомившийся от безделья внука и его друзей, почти молит их: «Хорошо, так устраивайте хоть революцию, только, ради Христа, делайте что-нибудь», — Карлос все-таки избирает времяпрепровождение светски-пустое, безобидное и приятное. Живя в Париже, он делит время между женщинами и скачками, театрами, клубами, ибо жизнь не удалась — и наивны надежды, бессмысленно отчаяние.

Как ни различны историко-фантастический роман о Христе и современная хроника трех поколений знатного португальского рода, есть между ними внутреннее родство: обе книги — о «лишнем человеке». К ним примыкают и последние два романа писателя.

«Знатный род Рамирес» вышел незадолго, можно сказать — накануне, «Город и горы» — вскоре после смерти Эсы де Кейроша. В первом пласты романтические и реальные, страницы, посвященные давней героике знатного рода и растерявшему рыцарские добродетели потомку, образуют — но иначе, чем в «Реликвии», — сложное, «синтетическое» повествование. Как всегда, главное оружие романиста — то беспощадная и сатирически-острая, то снисходительная и ласково-добродушная ирония. Эса де Кейрош, как Гулливер, с высоты своей европейской, исторически-широкой позиции наблюдает за битвами «остроконечников» и «тупоконечников» в родной ему Лилипутии. Подобно старому Афонсо, Эса обращается к фидалго Рамиресу с настойчивым призывом: возродись же и возроди страну! Но, отыскивая пути возрождения, Эса в самой Португалии достойного дела и средства к достойной цели своему герою все-таки не находит.

«Город и горы» с его будто бы найденным делом и смыслом существования печальных выводов Эсы не отменяет. Наоборот, роман подтверждает их — как доказательство от противного.

Роман вырос из повести «Цивилизация», герой которой, португальский аристократ в светском Париже, погрузившись в суету города и в сокровищницу культуры (тридцать пять энциклопедических словарей в личной библиотеке), «преодолел» Шопенгауэра и Екклесиаста. Что, в



самом деле, мог знать о жизни мрачный немец, проведший полвека в провинциальном пансионе, отводя глаза от книги только за табльдотом в беседе с поручиками гарнизона? И стоит ли прислушиваться к Екклесиасту обнаружившему, что жизнь — иллюзия, только к семидесяти пяти годам, когда власть уже ускользала из рук и триста наложниц гарема стали излишними для истощенной плоти: «один проповедует на похоронный лад о том, чего не знает, другой — о том, чего не может».

В романе герой — «принц Счастличик» — тоже поглощает вавилонскую башню всяких этик и эстетик, меняет Гартмана на Рёскина, интеллектуальный феодализм Ницше на неистовое самоотречение Толстого, терпеливо испытывает в своем особняке и на себе самом новейшие ухищрения бытовой техники, чтобы нечаянно обнаружить утраченную радость жизни в патриархальной простоте португальской деревни. Роман «Город и горы» с его розоватой идиллией, с его «последним прости» суете и грохоту цивилизации, «городу», с попыткой найти убежище в «горах», в удаленном от социальных бурь честном существовании, — продиктован тоскою по родине, ясным ощущением кризиса буржуазной культуры я всей атмосферой «конца века». В этой кризисной атмосфере родилась «Переписка Фрадики Мендеса» (1891).

## V

«Еще в период «Сенакля», сетуя на истинно китайскую апатию лисабонцев, закосневших в вековом созерцании и пережевывании одной и той же полумысли, — писал Ж. Баталья Рейс, — мы решили общими силами создать сатанического поэта — Карлоса Фрадики Мендеса».

Подборке его стихов, напечатанной в «Сентябрьской революции», Эса предпослал вступление, в котором разъяснял, что сеньор Фрадики Мендес — автор трех поэтических томов; первый, содержащий любовные стихи, назван «Гитара Сатаны»; том философской лирики озаглавлен «Сегидилья Пана»; третий, включающий в себя исторические поэмы и драматические фантазии, получил название «Одичалые мысли». В них видна, продолжает Эса, субъективность художника, сокрушающая запыревшие формализма и классических традиций, разливающаяся неудержимым, стихийным потоком, «чему способствует хаотическое состояние философской, социальной и эстетической мысли нашей эпохи, эпохи созидания и анархии, освобождения от пут и перехода к новым формам».

По определению Эсы, «сатаническая поэзия» — это романтическое в своей основе стремление к индивидуализму, которое почти не нашло в Португалии выразителей и апостолов, не встретило отклика в душе народов полуострова, живущих «под двойным гнетом мирского и церковного деспотизма, питаемого монархическим режимом».

Фради́ке Мендес сопровождал Эсу на протяжении всего творчества. Поэтому «Переписка» может быть названа книгой жизни и в том смысле, в каком становится ею воспоминания, исповедь.

В отличие от «Падре Амаро» и остальных романов Эсы, «Переписка» по форме своей — подчеркнута документальна. И в этой строгости документа есть, как обычно у Эсы, ирония и лукавство. Если в романах, начиная с «Падре Амаро», Эса стремился к объективности повествования истово и всерьез, то в «Переписке» победу одержал принцип субъективный. Документальность здесь стала мнимой, превратилась в прием. Он понадобился Эсе, чтоб избежать ошибок, как правило, сопровождавших попытки художников слова, кисти, резца создать идеальный образ, противостоящий несовершенному миру. Опираясь на опыт далеких и близких предшественников — от Данте до Золя, Эса решил не испытывать достоверность Фради́ке Мендеса логикой объективно-художественного повествования. Он понимал, очевидно, что его идеальный персонаж, как всякий гомункулус, немедленно обнаружит искусственность, если будет перенесен в роман из действительной жизни.

Форма биографии-исповеди должна была стать и стала в «Переписке» опорой для достоверности вымышленного героя, средством причудливого смещения поэзии и правды, способом тонкого сокрытия того, что есть, и утверждения того, что должно быть.

Облик Фради́ке Мендеса обретает рельефность на литературном фоне века. Причем не только на португальском. Как ни контрастны масштабы Эсы де Кейроша и Гете, сопоставление именно с «Фаустом» проясняет суть и характер «Переписки».

Фради́ке Мендес — это португальский Фауст конца XIX столетия. Подобно Фаусту гетевскому, он может быть истолкован биографически, с точки зрения личного опыта писателя.

Герой «Переписки», так же как автор и герои его последних романов, родом из аристократической семьи. Так же, как автор, он провел свои студенческие годы в Коимбре, захаживая в тот же погребок теток Камела. Фради́ке Мендес, как Эса де Кейрош, вел войну против романтической лирики и ее стремлений укрыться в «келье сердца» от всех звуков вселенной, «кроме шороха Эльвириных юбок». Как Эса, испытывал интерес к жизни «обыденной и повседневной». Двадцатилетний герой немногим отличался от двадцатилетнего писателя и в своих поэтических пристрастиях. Откровением стала и для него встреча с Леконтом де Лилем и Бодлером.

Вслед за Эсой де Кейрошем и осуществляя его несбывшиеся мечты, Фради́ке Мендес путешествует по Европе, Африке, обеим Америкам, добирается до запретной для всех чужестранцев святыни тибетских лам — Лхассы; исколесив Сибирь, земли по Волге и Днепру, получает от «шефа Четвертого отделения императорской полиции» предложение —

в собственных Фрадики Мендеса интересах — изучать Россию, оставаясь в своем парижском особняке. Именно там, в Париже, предпочтя его остальным городам мира, Фрадики Мендес, точно так же как Эса, обретает свою вторую родину. И там же — умирает.

Подобно «Фаусту», «Переписка» содержит в себе не только историю жизни ее создателя, но также историю его творчества. Если сцены первой и второй части «Фауста» отражают каждый этап шестидесятилетнего литературного пути Гете, начиная от юношеского, штюрмерского, то по обеим частям «Переписки» словно разбросаны зерна характеров и сюжетов, разработанных в «Падре Амаре», в «Семействе Майя», в публицистике Эсы.

Путь Фрадики Мендеса — это не только история жизни и творчества Эсы, это одновременно история его поколения и логика эстетического развития португальского общества. В какой-то мере и здесь вновь правомерна ассоциация с «Фаустом» — это история европейской буржуазной культуры от либеральных порывов и надежд к скептическому безверию в свою социальную правоту, в свои силы; это логика литературного развития Европы прошлого века — от великого романа к распаду эпически мощных повествовательных форм.

Как же судьбы европейской культуры преломились в образе Фрадики Мендеса? И как, какие черты столетия запечатлелись в этом портрете?

Сначала о портрете — в прямом смысле слова. Атлетические пропорции, лицо того орлиного склада, какое называют обычно цезарским, но без дряблой пухлости, характерной для скульптурных портретов властителей Древнего Рима... Так начинается повествователь, которого нельзя отождествлять с самим Эсой де Кейрошем. Повествователь тоже герой «Переписки», строго соотношенный с Фрадики Мендесом.

Повествователь настойчиво подчеркивает одухотворенность излучаемой Фрадики силы: в его глазах угадывалось редкостное сочетание энергии и утонченности, в фигуре — спокойное изящество, в улыбке — двадцать веков истории литературы. Биограф не жалеет ни слов, ни красок, создавая облик мыслителя, какого не знал еще, кажется, ни древний, ни новый мир. Фрадики обладает новейшими познаниями в физике, астрономии, филологии, мифологии, антропологии, лингвистике, истории и проч. Бог словно взял частицу Генриха Гейне, частицу Шатобриана, щепотку праха «бессмертных» из Французской Академии и т. д., налил в эту смесь шампанского и типографской краски, слепил Фрадики Мендеса и отправил на землю, одарив его к тому же отвагой и способностями: фехтовать, как кавалер ордена Святого Георгия, опережать в гонках лучших гребцов Оксфорда, в одиночку охотиться на тигра, с хлыстом в руках побеждать отряды абиссинских копейщиков! Фрадики, таким образом, отнюдь не кабинетный мыслитель. Апартаменты

его напоминают одновременно и гарем и академию. Целых два года он был возлюбленным Анны де Леон — самой изысканной куртизанки Парижа. Но и это еще не все.

Фрадики посещал Виктора Гюго в его убежище на острове Гернсее, переписывался с Мадзини, сохранял дружбу с Гарибальди, вместе с которым завоевывал Королевство обеих Сицилии; участвовал в религиозных движениях на Востоке, сближался с теософами, вступал в члены клубов Парижа и Лондона.

Подводя итог этой бурной жизни, пожалуй, и в самом деле можно сказать, что светский денди, один из последних язычников, сохранивших верность Олимпу, был «последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философов». Он вобрал в себя, подобно Фаусту, всю эпоху, постиг всю историю человечества — и даже без помощи Мефистофеля. Но тем явственней отличие идеи образа Фрадики от идеи фаустианской.

Познание для Фауста — как ни безгранична была его жажда — не было самоцелью. Лишь в деянии обретало оно свой смысл, свою исходную силу и конечную цель. В «Переписке» же устами повествователя и самого героя, ссылками на их друзей не раз подчеркивается, что Фрадики Мендесу недостает высшей цели, что его энциклопедичность бесплодна и познание для него существует ради познания. «Голова Фрадики отлично устроена и оборудована. Не хватает только идеи, которая взяла бы в аренду это помещение, поселилась в нем и стала хозяйкой. Фрадики — гений, на лбу которого висит объявление: «Сдается внаем».

«Ларусс, разведенный в одеколоне», — вот отзыв одного из друзей; «Декарт, который оставит после себя не «Рассуждения о методе», а разве что водевиль», — вот отзыв другого. Приходится допустить, что была в этих отзывах сила пророчества и заклинания: иначе старинный испанский сундук резного железа, где Фрадики хранил рукописи, не стал бы для них «братской могилой», навеки скрывшей от человечества свои тайны.

Случайность его смерти — по сути, лишь выражение бессмысленности его жизни. Грустной, печальной жизни «лишнего человека». «Лишнего» — ибо человек, оказавшийся нужным родине, вызывавший у нее преклонение и восторг, — это Пашеко.

Письмо Фрадики Мендеса о нем — пародийно. Это памфлет в форме традиционно-хвалебного некролога, издевка над Португалией, над португальской прессой, огласившей страну горестными пространными воплями по поводу смерти государственного мужа, который «не дал своей стране ни трудов, ни дел, ни книг, ни мыслей». Как правило, стремясь не выходить из своего полновесного молчания, Пашеко предпочитает сосредоточенно подымать палец, а к концу жизни, по мере того как лоб его становится обширней, — улыбаться.

Таков портрет человека, нужного родине. Универсального директора всех компаний и банков, члена кабинета. Не побежденного, а победителя.

В отличие от этого государственного мужа, Фрадики Мендес всего лишь интеллектуальный гурман, дегустатор наук и действительности, пожалуй эстетствующий дилетант, схожий с персонажами Оскара Уайльда а не только с гетевским «Фаустом». Диагноз, поставленный себе самому Фрадики Мендесом, верен: «По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист».

Эса де Кейрош развенчивает своего героя порою сильнее, чем идеализирует. Но сколько бы деталей, брошенных Эсой иронически и всерьез, ни довершали развенчания Фрадики Мендеса, было бы, конечно, ошибкой свести его образ к отсутствию высокой идеи или ограничиться выводом, что в «Переписке» сорваны последние листья с лаврового венка героя. Знаменательное отсутствие программно-социальной, цементирующей характер и убеждения идеи не означает отсутствия идей вообще, а равно и характера и убеждений. Универсальность Фрадики не означает также его неопределенности. Больше того, даже отсутствие плодов творческой деятельности нельзя признать творческой бесплодностью. Ибо у Фрадики Мендеса есть свой кодекс морали, свои политические пристрастия и эстетические симпатии. А главное, его пафос познания был тоже рожден высокой целью — сформировать самобытную и самоценную личность, которая воплотила бы в себе духовные силы Португалии и явилась бы венцом европейской культуры.

Недаром в конце первой части, заканчивая биографию Фрадики, Эса приводит слова Мишле об Антеро де Кинтале: «Если в Португалии есть еще четыре или пять таких личностей, то страна по-прежнему остается великой...» Для «Переписки» очень важны эти слова Мишле, но еще важнее выстраданный комментарий Эсы: «Пока в нашей стране живет мысль, пусть способность действовать в ней умерла, — все равно, страна эта еще не вся обратилась в труп, который позволительно попирать ногами и разрывать на части». В смутное и горькое время, продолжает Эса, талант вроде Фрадики — это знак утешения и надежды, залог того, что душа его народа живет «пусть в менее грандиозных, но не менее ценных проявлениях мысли: в остроумии, в даре непринужденной импровизации, высокой иронии, фантазии, хорошем вкусе».

Весь облик Фрадики Мендеса, с его жаждою все увидеть и все познать, был обвинением нравственно-апатичному интеллектуально-ленивому португальскому обществу, призывом избавиться от умственной лени — главной причины, приведшей, как считал теперь Эса, к упадку Португалии.

По замыслу автора, Фрадики Мендес — это истинно народный и национальный талант, что в глазах Эсы, так же как в наших, определяет

ценность героя. Но между трактовкой Эсы и нашим истолкованием этих понятий есть отличие, выяснить которое необходимо.

Народность, так же как остальные понятия, идейно окрашивающие образ Фрадики, — производное от его отношения к прогрессу.

У истоков XIX столетия, видя тяжкие издержки прогресса, Гете в трагедии о Фаусте оценивал его все-таки как благо. На исходе века, в творении совсем ином, но тоже итоговом, чаша весов колеблется. Фрадики Мендес, дитя современной культуры, с презрением отзывается о настоящем. Его, потомственного фидалго, постоянно влечет прошлое, он искренне тоскует о прошлом и создает его нарочитый, демонстративный культ: поселяется в старинном герцогском особняке, в аристократически клерикальном квартале Парижа, держит слугу-шотландца, сохраняющего — впрочем, лишь внешне, в расцветке костюма — верность традициям клана Мак-Дуфов. Именно в прошлом видит Фрадики эпоху расцвета личности, вырождающейся вместе с успехами цивилизации. Фотоснимок мумии Рамзеса II Фрадики сопровождает элегическим сравнением лица мужественно-великолепного, величественного фараона с вялой, хитрой, усатой физиономией какого-нибудь Наполеона III, с мордой бульдога, заменяющей лицо Бисмарку, с неподвижно-уголовными чертами русского царя, которые лучше подошли бы его собственному камер-лакею... Рамзес II ощущал себя владыкою мира, рассуждал Фрадики, и сознание своего величия придало лицу его горделивую мощь. Сознание своего ничтожества отразилось на физиономии нынешних властителей, деланной, искаженной, вымученной.

Фрадики Мендес потому и одаривает своей симпатией «простой народ», что видит в нем первозданную чистоту и свободу от ядовитых плодов цивилизации. Запоздалый романтик и руссоист, Фрадики Мендес выступает как критик буржуазной цивилизации — и зачастую как критик довольно острый. Одно из свидетельств тому — яростное письмо «дорогому Бенто» о затеянной им новой газете — рассаднике трех смертных грехов, которые губят общество: легкомыслия, тщеславия и нетерпимости. Газета источает нетерпимость, «как перегонный аппарат выделяет алкоголь»; остывшие, как пепел в очаге, распри она раздувает в новое, бешеное пламя ненависти.

Другое свидетельство чуткости этой романтической критики — письмо инженеру Бертрану Б. по поводу строительства железной дороги из Яффы в Иерусалим. Фрадики Мендес не сомневается в торжестве «ощетинившегося Прогресса» над древними поверьями, угля и железа — над поэзией: «Ты соорудишь вокзал среди апельсиновых рощ, воспетых в Евангелии», через кожаную кишку паровоз накачает в резервуар воду из священного колодца, сделает остановку в древней Аримафее: «Аримафея! Стоянка пятнадцать минут!» — наконец, весь в масле, копоти и ноту, доберется до долины Эннома: «Иерусалим!»

«Простой паломник», Фрадики Мендес полагает, что загрязнять дымом прогресса воздух, «где еще веет благоухание, оставленное полетом ангелов», — это не цивилизация, а профанация. Конечно, Фрадики не сомневается, что отдых Девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор — это басни. «Но эти басня уже 2000 лет дарят трети человечества очарование, надежду, утешение, силу жить». И он убежден, что фантазия, легенда не менее полезны, чем знание «положительное»: «В формирование каждой души — если мы хотим, чтобы оно было полноценным, — должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки».

Фрадики Мендес вовсе не против, скажем, таких положительных заведений, как рестораны, — но устраивать ресторан в соборе Парижской богородицы? В письме инженеру Бертрану Б. речь идет уже не только о том, что ненавистно фидалго из Португалии. Сквозь романтическую критику здесь ясно проступают контуры идеала Фрадики Мендеса, его понимание истинных ценностей жизни. Как прежде в «Преступлении падре Амаро», так и теперь они связаны с гуманными и поэтическими началами, которые находят свое воплощение в любви, понятой философски, религиозно, нравственно — в любви к ближнему.

Тема эта нарастает в письмах постепенно. Поначалу она словно таится за салонными признаниями светского льва о женщинах «внешней жизни», которых можно перелистывать, как страницы книги, делая любые пометки на атласных полях, обсуждать, не стесняясь в выборе выражений, рекомендовать друзьям, бросить, когда прочитаны лучшие страницы, и о женщинах «внутренней жизни», исключая исследовательские эксперименты и достойных глубокого уважения. Лишь после такого рода увертюры страстная и почтительная любовь Фрадики Мендеса обнаруживает себя и раскрывает свой смысл. В последнем письме (его итоговое для всей вещи значение подчеркнуто, так же как в «Падре Амаро», композицией) чувство к женщине «внутренней жизни», становясь поклонением, подсказывает сначала сюжет из старинной хроники о короле «Красивом», принесшем великой любви поистине королевские жертвы, а затем — раздумье о тех, в ком отделить человеческое от божественного куда труднее, чем даже в страстно любимой.

Для Эсы де Кейроша и Христа — не боги, а люди. Единомышленник не случайно упомянутого в последнем письме «Переписки» Эрнеста Ренана, Эса воспринимает христианство и буддизм как учения этические, дающие единственное спасение от «издержек прогресса». Эса освобождает здесь Будду и Христа от «мифологии», пытаясь представить их жизнь в «исторической наготе».

Несметно богатый, могущественный азиатский властитель Будда до своего отречения был любящим мужем, счастливым отцом. Принеся в жертву власть и богатство, покинув семью, Будда становится нищим

монахом, который просит милостыню на краю каменной дороге. Накапливая добро, живущее в любой душе, он творит новое человечество. Будда исполнен веры, что с поколениями оно становится лучше и когда-нибудь придет к совершенству.

## VI

Итак, долгий путь познания завершен. После блужданий среди всех наук и скитаний по всему свету Фради́ке Мендес приходит к отказу от суеты, к проповеди добра. Эса де Кейрош сохраняет, следовательно, в своей книге итогов верность этическим идеалам, утверждавшимся еще в первом зрелом романе. Прекрасная, но и грустная верность. Потому что ирония «Падре Амаро» была иронией борьбы и надежды, в «Переписке» же — это ирония усталая: вечерняя исповедь Эсы заканчивается упованием, что когда-нибудь, в бесконечной дали времен, прибавляясь песчинка за песчинкой, добро, быть может, и победит.

У надгробья классиков зачастую слышатся слова запоздало-проницательного осуждения: не увидел выхода, ограничился сферой искусства, иронией, предпочел теорию «малых дел», не понимая бессилие мелкой благотворительности преодолеть большое зло мира...

Нужда в таких речах сомнительна.

Не увидел выхода? Но разве нашла, пробилась к выходу Португалия на протяжении XX столетия? Разве не протерпела она сорок лет фашистский режим Салазара?

Предпочел «теорию малых дел»? Но разве сегодня, когда атомно-водородной угрозой поставлены на карты жизни всего человечества, когда беспомощность политической теории малых дел очевидна, потеряла ли свою ценность гуманная мораль, убеждающая, что надо протягивать руку тому, кто споткнулся?

Ограничился сферой искусства, иронией? Но иной художник иной страны, иного, еще более близкого к нам времени, на вопрос, какова ваша вера, ответил: «Если проэкзаменовать себя, результат получается в высшей степени тривиальный: я верю в доброту и духовность, в правдивость, в свободу и смелость, красоту и праведность, одним словом — в самостоятельную веселость искусства, великого растворителя ненависти и глупости». Слова эти написаны 21 декабря 1953 года ироничным и добрым пером классика, которого, кажется, трудно обвинять в непонимании своей эпохи, — пером Томаса Манна.

И все же: Эса де Кейрош ведь сам писал о себе — побежденный жизнью.

Побежденный ли?

Жизнь большого художника не обрывается его физической смертью. «Книги имеют свою судьбу». Когда в 1903 году в Лиссабоне состоялось



открытие сооруженного на средства друзей памятника Эсы — памятника с эпитафией из «Реликвии»: «Под легким покровом вымысла — могучее нагое тело истины», — народу собралось совсем немного.

Но шло время, и традиционным свидетельством нарастающего влияния Эсы стали попытки все более часто и грубо фальсифицировать его творчество. Саркастического, непочтительного остроумца начали приспосабливать к политическому климату Португалии.

В 1945 году на режим Салазара надвинулся столетний юбилей уже всемирно признанного классика. Джосир Менезес, автор вышедшей двумя изданиями книги «Социальная критика Эсы де Кейроша» (1951, 1962 гг.), прослеживает логику борьбы этих лет вокруг творчества юбиляра.

Заставить умолкнуть? Поздно. Отменить юбилей? Отложить? Обойти молчанием? Допустить, чтобы враги режима оставили Эсу у себя на вооружении? Невозможно. Более того — невыгодно.

Пришлось торжествовать. Торжествовать, приспособляясь и приспосабливая. Так в статьях и речах началась «дезсафизация» Эсы де Кейроша.

Правда, дружной ее не назовешь. Крайне правая, средневеково-яростная газета «Новидадес» не удержалась и расстроила игру. Она негодовала против романиста, против торжеств и правительства, проявившего непопустительную терпимость. «Новидадес» настаивала, что Эса неприемлемо враждебен принципам, на которых государство основывает ныне «политику национального восстановления».

И дальше: «Распространять его писания, делать его доступным для широких масс... значит способствовать моральному и социальному разложению классов, которые так сильно нуждаются в том, чтобы их оберегали от соблазнительных ловушек и сладкого яда».

И в заключение: «Если бы Эса был жив, ему пришлось бы либо отречься от всего написанного в самую активную пору творчества, либо открыто встать в авангарде врагов Португалии!»

Так каким же предстает сегодня перед нами Эса де Кейрош? Побежденным? Нет, сражающимся. В его таланте — победа жизни.

*М. КОРАЛЛОВ*

# ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

---

ПЕРЕВОД Г. ЛОЗИНСКОГО и Е. ЛАВРОВОЙ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. ПОЛЯК

I

Дружба моя с Фради́ке Мендесом началась в Париже на святой неделе 1880 года, когда он только что возвратился из путешествия по Южной Африке. Но познакомился я с этим удивительным человеком гораздо раньше, в 1867 году, в Лиссабоне. Сидя как-то летним вечером в кафе Мартины, я прочел в помятом номере «Сентябрьской революции» это имя: К. Фради́ке Мендес, стоявшее громадными буквами под стихами, которые привели меня в восторг.

Сюжеты («эмоциональные мотивы», как выражались мы в 1867 году) этих пяти или шести стихотворений, напечатанных под общим заглавием «Лapidарии», сразу же пленили меня своеобразием и долгожданной свежестью. Именно в это время я и мои товарищи по «Сенаклю», увлеченные эпическим лиризмом «Легенды веков» — «книги, принесенной к нам могучим порывом ветра с Гернсея», — решили объявить войну любовной лирике и предать ее хуле за то, что, приютившись в двухвершковой келье человеческого сердца, глухая ко всем звукам вселенной, кроме шороха Эльвириных юбок, она превратила поэзию (особенно нашу, португальскую) в нескончаемую, однообразную исповедь о восторгах и муках любви. Но Фради́ке Мендес, видимо, примыкал к молодым поэтам, которые следовали за несравненным мастером «Легенды веков» и, приемля все сущее, искали эмоциональные мотивы вне тесных пределов влюбленного сердца: в истории, предании, нравах, обычаях, верованиях — во всем, что на протяжении веков раскрывает Человека в его многоликоста и единстве.

Помимо этого Фради́ке Мендес разрабатывал и другую поэтическую тему, тему современности. Он умел тонко и без

нажима очертить прелесть и ужас жизни, жизни обыденной и повседневной, какую мы видим или угадываем на улицах, в соседних домах, в человеческих судьбах, смиренно скользящих мимо нас в смиренном полумраке.

И надо сказать, что маленькие поэмы, собранные под шапкой «Лапидарии», раскрывали поистине великолепные по своей новизне сюжеты. Вот аллегорический святой, пустынный VI века, умирает на закате дня среди силезских снегов, сраженный внезапным, неистовым мятежом плоти; и на самом пороге вечного блаженства он вдруг лишается места в раю, так дорого доставшегося ценой пятидесятилетнего отшельничества в пустыне. Вот словоохотливый ворон, свидетель древности, повествует о ратных делах давно минувших времен, когда он с веселой стаей сородичей излетал Галлию вслед за легионами Цезаря, а потом, увязавшись за ордами Алариха, увидел Италию, белевшую мрамором и синевшую лазурью. Вот славный рыцарь Парцифаль, зеркало и цвет идеалистов, странствует по свету из века в век, озаряя города и веси отблеском своих золотых доспехов: он ищет Святой Грааль, мистический сосуд с кровью Христовой, который однажды, в рождественский вечер, мелькнул ему в облаках над башнями Камерлона. Вот сатана немецкой складки, начитанный в Спинозе и Лейбнице, поет в переулке средневекового города ироническую серенаду звездам, «каплям света, застывшим в морозном эфире»... И вдруг, посреди этой ослепительной символики — картинка простой сегодняшней жизни, «Старушки»: пять старушек, с цветными шальями на плечах, с платком или кошелкой в руке, молча сидят на скамье, погружаясь в воспоминания, и греются в поздних лучах осеннего солнышка.

Не поручусь за точность моих воспоминаний об этих прекрасных образах. После того августовского вечера у Мартиньо «Лапидарии» не попадались мне на глаза. Собственно говоря, мне понравилась в них не столько тема, сколько форма, ярко пластичная и полная жизни; в ней было что-то от мраморной чеканки Леконта де Лиля — только в жилах этого мрамора струилась более жаркая кровь; и в то же время строки эти дышали в напряженном, нервном ритме бодлеровского стиха, но звучали более мерно и гармонично. Дело в том, что как раз в 1867 году мы с Ж. Тейшейрой де Азеведо и другими товарищами обнаружили на небосводе французской поэзии (единственном небосводе, к которому устремлялись наши взоры) целую плеяду новых светил, среди которых выделялись своим особенным и несравненным блеском два солнца: Бодлер и Леконт

де Лиль. Виктор Гюго, которого мы уже называли просто «Стариком» или «Гюго-вседержителем», был для нас не обычным светилом, но самим господом богом, изначальным и имманентным, дарующим свет, скорость и период обращения небесным телам. А Леконт де Лиль и Бодлер представляли собой два созвездия, сверкавшие у его ног удивительным сиянием. Встреча с ними была для нас откровением, подобным первой любви. Нынешняя позитивная, деловая молодежь, которая интересуется политикой, следит за биржевым курсом и читает Жоржа Онэ, едва ли поймет священный трепет, с каким мы принимали причащение к этому новому искусству, возникшему во Франции вместе со Второй империей на развалинах романтизма, как последнее его превращение. В поэзии это новое направление воплотили Леконт де Лиль, Бодлер, Коппе, Дьеркс, Малларме и другие, менее замечательные поэты. Едва ли поймет наше увлечение и та часть теперешней образованной молодежи, которая со школьной скамьи питается Спенсером и Тэнном и подвергает неутомимой, пронизательной критике те области искусства, которые в нас, более наивных и более пылких, вызывали одно лишь волнение души.

Я и сам не могу теперь без улыбки вспоминать вечера в комнатухе у Тейшейры де Азеведо, когда, дрожа от восторга, я оглашал ночь строфами из «Падали» Бодлера, повергая в смятение и ужас двух каноников, живших за стеной:

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  
A cette horrible infection,  
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,  
Vous, mon ange et ma passion!<sup>1</sup>

Слышно было, как за перегородкой скрипели кровати священников, тревожно чиркали спички. А я, бледный как полотно, трепеща в экстазе, гремел:

Alors, oh ma beauté, dites à la vermine  
Qui vous mangera de baisers,  
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine  
De mes amours décomposés!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Но вспомните: и вы, заразу источая,  
Вы трупом ляжете гнилым,  
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,  
Мой лучезарный серафим! (Перевод В. Левика)

<sup>2</sup> Скажите же червям, когда начнут, целуя,  
Вас пожирать во тьме сырой,  
Что тленной красоты навеки сберегу я  
И форму, и бессмертный строй! (Перевод В. Левика)

Вероятно, из-за Бодлера не стоило трепетать и бледнеть. Но всякое искреннее преклонение само по себе прекрасно и не зависит от истинных заслуг божества, которому воздается. Две ладони, сложенные для молитвы в порыве непритворной веры, всегда будут трогать душу — даже если они простираются к такому вздорному и фальшивому кумиру, как, например, святой Симеон Столпник. Наш восторг был чистосердечен; породила его радость обретенного идеала; он был подобен восторгу мореплавателей-испанцев, когда им довелось впервые ступить на неведомую землю, на берег волшебного Эльдорадо, страны наслаждений и сокровищ, где даже в блестящей на солнце прибрежной гальке им чудились россыпи алмазов.

Я где-то читал, что Хуан Понсе де Леон, наскучив бурями равнинами Старой Кастилии и не находя прежнего очарования в темно-зеленых садах Андалузия, пустился странствовать по морям, чтобы найти новые земли и *mirar algo nuevo*<sup>1</sup>.

Три года бороздил он наудачу угрюмые воды Атлантики; долгие месяцы блуждал в туманах Бермудских островов; всякая надежда иссякла, и потрепанные корабли уже готовились повернуть обратно к оставленным вдали берегам Испании. И тогда-то, под ослепительным утренним солнцем, в день святого Хуана, перед восхищенной эскадрой предстала Флорида во всем ее великолепии... Слезы потекли по седой бороде капитана. «¡Gracias te sean dadas, mi S. Juan bendito, que he mirado algo nuevo!»<sup>2</sup> Хуан Понсе де Леон умер от радости. Мы не умерли. Но слезы, подобные тем, что пролил старый мореход, брызнули у меня из глаз, когда мне впервые открылся сумрачный блеск и терпкий аромат «Цветов зла». Уж такие мы были в 1867 году!

Надо, впрочем, сказать, что я тоже, как Понсе де Леон, искал в литературе и поэзии только новизны, стремился увидеть *algo nuevo*. А что могло быть ново для двадцатилетнего южанина, ценившего превыше всего краски и звуки во всей их полноте, как не роскошная, неожиданная форма? Новая, непривычная красота формы — вот что по-настоящему составляло для меня тогда, в пору впечатлительной юности, главную приманку и главную заботу. Конечно, идею в ее чистой сущности я тоже боготворил; но еще больше — слово, выразившее ее! В «*Une charogne*»<sup>3</sup> Бодлер показывает своей возлюбленной гниющие

<sup>1</sup> Увидеть что-нибудь новое (*исп.*).

<sup>2</sup> Спасибо тебе, святой Хуан благословенный, что ты дал мне увидеть нечто новое! (*исп.*)

<sup>3</sup> «Падалъ» (*франц.*).

останки собаки и приравнивает их к смертному телу красавицы, видя и в том и в другом одинаково брэнную плоть, — и это было для меня великолепной, восхитительной неожиданностью. Что представлял собой рядом с этой страдальческой утонченностью чувствований устарелый и примитивный Ламартин, сравнивающий нежное лицо возлюбленной с блеклым ликом луны? Но если бы жестокий и мрачный спиритуализм Бодлера был выражен гладким, вялым слогом Казимира Делавиня, те же стихи показались бы мне ничуть не лучше виршей из «Памятного альманаха».

«Лapidарии» Фрадики Мендеса попались мне на глаза именно в то время, когда я был всецело поглощен чувственным обожанием формы. Я увидел в них слияние двух взаимоисключающих качеств: величавого покоя и нервной чувствительности, составлявших (по крайней мере, так мне казалось) славу двух моих кумиров: автора «Цветов зла» и автора «Варварских поэм». Мало того: к моему вياшему восторгу, поэт «Лapidарий» был португальцем; материалом для его мастерской чеканки послужил язык, на котором до тех пор не было создано ничего значительнее «Обручения в могиле» и «Аве, Цезарь» (единодушно признанных жемчужинами отечественной поэзии). Автор «Лapidарий» жил в Лиссабоне, входил в число наших молодых поэтов, и, несомненно, душа его, а может быть, и образ жизни были столь же оригинальны, как стихи.

Так смятый номер «Сентябрьской революции» стал для меня открытием в искусстве, провозвестием новой поэзии, призванной озарить давно желанным светом и согреть своим теплом юные души, окоченевшие в дремоте под белесой луной романтизма. Спасибо тебе, благословенный Фрадики, за то, что на моем старом языке мне довелось прочесть algo nuevo! Помнится, в порыве признательности я пробормотал вслух эти слова и, захватив помер «Сентябрьской революции», побежал к Ж. Тейшейре де Азеведо в переулок Гуарда-Мор, чтобы возвестить ему чудесное событие.

Я застал его дома; как обычно в сонные и праздные летние вечера, он сидел у себя, попивая торреское вино и заедая его клубникой. Потрясая рукой, я оглушительным голосом продекламировал «Смерть отшельника». Если память мне не изменяет, это была история аскета, умиравшего в снегах Силезии и жесточайшим образом преданного вероломной природой в минуту прощания с жизнью; все плотские влечения, все зовы страсти, которые пустынный так усердно подавлял целых пятьдесят лет, вдруг вырвались из оков и хлынули наружу беш-



ным потоком, не желая умирать вместе с умирающим телом, не вкусив хотя бы однажды удовлетворения! И ангелы, слетевшие за его душой под пение эпиталамы, шелестя непорочными крыльями и помахивая пальмовыми ветвями, нашли на месте святого отшельника омерзительного старого сатира, который ползал по земле, страстно рыча, и жадно целовал снег, мягкую белизну снега, ибо в бредовом иступлении ему чудилось, что под его губами нагое тело блудницы!.. Картина была описана с величавой, благородной простотой, которая казалась мне божественной. Ж. Тейшейра де Азеведо согласился, что это божественно, «хотя довольно неприлично». Он тоже считал, что необходимо вывести Фрадику Мендеса из неизвестности и поднять на щит, как блистательного вожака молодой поэзии.

В тот же вечер я отправился в «Сентябрьскую революцию» разыскивать своего университетского товарища, Маркоса Видигала, который в веселые годы, отданные зубрежке римского и канонического права, прослыл среди нас знатоком классической музыки, потому что играл на концертине, читал «Историю музыки» Скудо и ввел в университетский обиход имена Моцарта и Бетховена. Теперь, влача праздное существование в Лиссабоне, он писал для воскресных номеров «Революции» хронику музыкальной жизни, что давало ему право бесплатно ходить в Сан-Карлос.

Это был веснушчатый молодой человек с редкими волосами цвета сливочного масла, вялый на вид и не блиставший живостью ума. Но он весь расцветал и преображался, когда ему случалось «соприкоснуться со знаменитостью или попробовать на зуб (его выражение) что-нибудь оригинальное». Благодаря этому он и сам постепенно стал почти оригиналом и почти знаменитостью. В тот вечер (это было в субботу и стоял изнурительный зной) Видигал еще не ушел из редакции: пыхтя от натуги и обливаясь потом в альпаковом пиджачке, он по капле выжимал из своего бедного мозга, точно из засохшего лимона, наметку о Вольпини. Не успел я произнести имя Фрадики и заглавие восхитивших меня стихотворений, как Видигал расплылся в улыбке и отбросил перо; на его вялом лице заиграло радостное оживление.

— Фрадики? Знаю ли я великого Фрадики? Да он мой родственник! Земляк! Компаньон!

Вот это здорово, Видигал, вот это здорово!

Я пошел проводить Маркоса на Городской бульвар, где у него было назначено свидание с каким-то биржевым дель-

цом. Усевшись в тени акаций, мы потребовали шербета, и музыкальный обозреватель «Сентябрьской революции» дал мне кое-какие сведения о происхождении, молодых годах и деяниях создателя «Лапидарий».

Карлос Фрадики Мендес происходил из старинной и богатой семьи с Азорских островов; он был прямым потомком мореплавателя дона Лопо Мендеса, отпрыска по младшей линии рода Троба и командора одной из первых капитаний, созданных на островах в начале XVI века. Отец нашего Карлоса, человек простого и грубого нрава, но красавец собой, погиб на охоте, когда мальчик еще не умел ходить. Шесть лет спустя умерла его мать, изящная, задумчивая, белокурая женщина, которую один поэт с Терсейры называл «девой из Оссиана»; она схватила лихорадку во время буколической поездки за город, где в самую жару, под веселые песни, убирала с крестьянками сено. Карлос остался на попечении своей бабушки с материнской стороны, доны Анжелины Фрадики, легкомысленной старухи, которая увлекалась науками, собирала коллекцию птичьих чучел, переводила на португальский язык Клопштока и периодически страдала от «стрел Амура». Первоначальное воспитание ее внука было поразительно сумбурным: сначала капеллан доны Анжелины, бывший монах-бенедиктинец, обучил его латыни, катехизису, страху перед масонами и другим твердым принципам; затем некий француз, полковник и непримиримый якобинец, в 1830 году дравшийся на баррикадах Сен-Мерри, подорвал этот духовный фундамент, задавая своему воспитаннику переводить «Девственницу» Вольтера и «Декларацию прав человека и гражданина»; и в заключение немец, помогавший доне Анжелине обряжать Клопштока под Филинто Элизио и выдававший себя за родственника Иммануила Канта, довершил эту путаницу, приобщив Карлоса, задолго до того как у него начали пробиваться усики, к тайнам «Критики чистого разума» и к метафизическим ересям тюбингенских профессоров. К счастью, его воспитанник по целым дням скакал верхом в отъезжих полях, охотясь со сворой гончих. Свежий воздух дубовых рощ и чистая вода ручьев спасли юношу от худосочия, до которого его непременно довели бы отвлеченные умствования.

Когда Карлосу исполнилось шестнадцать лет, бабушка, до того с полным беспристрастием одобрявшая столь разнородные принципы воспитания, вдруг решила отправить своего внука

в Коимбру — средоточие, как она говорила, благородных классических штудий и последний оплот гуманитарных наук. На острове, впрочем, поговаривали, что переводчица Клопштока, невзирая на свои шестьдесят лет и на густой пушок, покрывший ее лицо наподобие плюща, каким порастают развалины, удалила внука, чтобы без помех выйти замуж за своего кучера.

Последующие три года Карлос гулял с гитарой по Пенедоде-Саудадес, пил дешевое вино в погребке у теток Камела, печатал в «Мысли» аскетические сонеты и безрезультатно ухаживал за дочкой кузнеца из Лорвана. Не успел он провалиться по геометрии, как бабушка внезапно умерла в своей усадьбе Торнас, в увитой розами беседке, где она в приятном забытии пережидала полдневную июньскую жару, попивая кофе и слушая, как кучер брэнчит на гитаре, сверкая перстнями, унижавшими его пальцы.

У Карлоса оставался из родных только один дядя, Тадеу Мендес, любитель комфорта и хорошей кухни. Он жил в Париже и трудился во спасение человечества вместе с Персиньи, Морни и принцем Луи-Наполеоном, которого глубоко чтил и ссужал деньгами. И Карлос отправился в Париж — изучать юриспруденцию в примыкающих к Сорбонне кабачках и ждать совершеннолетия и наследства: после отца и бабушки ему предстояло получить, по подсчетам Видигала, добрый миллион круадо. Видигал, внучатый племянник доны Анжелины, получил по завещанию, совместно с Карлосом, усадьбу под названием Корвовело. Поэтому он и мог называть себя «родственником, земляком и компаньоном» автора «Лапидарий».

О дальнейшем Видигал знал немного: ему известно было только, что Фрадике, обретя свободу и богатство, покинул Латинский квартал и зажил вольно и бурно. С неудержимостью выпущенной из клетки птицы он помчался вдаль и изъездил весь свет — от Чикаго до Иерусалима, от Исландии до Сахары. Во время этих странствований, увлекаемый то запросами ума, то жаждой новых ощущений, он оказался участником великих исторических событий и общался с выдающимися людьми нашего века. Одетый в красную блузу, он вместе с Гарибальди завоевывал королевство Обеих Сицилий. Он проделал всю абиссинскую кампанию при штабе старика Нэпира, который называл его *The Portuguese lion* (Португальский лев). Он переписывался с Мадзини. А недавно посетил Виктора Гюго на скалистом острове Гернсей...

Услышав про Гюго, я вытаращил глаза и попятился. Виктор Гюго, высланный на Гернсей — это еще у всех на памяти, —

был для нас, идеалистов и демократов 1867 года, величавой, легендарной фигурой, чем-то вроде апостола Иоанна на острове Патмосе. Я вытаращил глаза и попытался: легко ли мне было поверить, что обыкновенный португалец, какой-то Мендес, пожимал царственную руку, написавшую «Легенду веков»? Переписываться с Мадзини, дружить с Гарибальди — допустим! Но беседовать и мечтать вместе с провидцем, создавшим «Отверженных», прогуливаться с ним по священному острову, под гул Ла-Манша — это мне казалось наглым бахвальством и мистификацией.

— Клянусь! — воскликнул Видигал, вскинув правую руку к ветвям акации, в тени которой мы сидели.

И тут же, в подтверждение несравненной чести, которой удостоился Фрадики, он поведал мне о еще более почетной славе, увенчавшей этого необыкновенного человека поистине ослепительным ореолом. Речь шла уже не о дружбе знаменитого человека, но о редчайшем, неопенимом отличии: о любви знаменитой женщины. Да! Целых два года Фрадики был возлюбленным Анны де Леон, самой изысканной и красивой куртизанки Парижа (Видигал выразился о ней: «королевский кусочек»). Анна де Леон была прекраснейшим цветком Второй империи, воплощением ее духа, высшим выражением утонченной грации и пронизанной интеллектом чувственности! Мне не раз доводилось видеть имя Анны де Леон в «Фигаро»; я знал, что поэты именовали ее Венерой Победительницей. Конечно, любовь куртизанки не произвела на меня такого впечатления, как дружба творца «Созерцаний»; но недоверчивость моя была сломлена, и Фрадики стал для меня одним из тех избранных существ, вроде Алкивиада или Гете, которые силой своего обаяния или гения властвуют над целой эпохой, пожиная все наслаждения и все триумфы.

Наверно, именно поэтому я покраснел и смутился, когда Видигал, потребовав еще порцию сливочного шербета, предложил повести меня на квартиру к Фрадики Мендесу. Я не решился ответить ни да, ни нет и вспоминал Новалиса: такие же колебания обуревали и его, когда однажды утром в Берлине он поднимался по лестнице в квартиру Гегеля... Я только спросил, живет ли автор «Лапидарий» в Лиссабоне постоянно. Нет! Фрадики лишь на время приехал из Англии, отдохнуть в своей любимой Синтре, где он купил виллу «Сарагоса», по дороге в Капуцинский монастырь, чтобы иметь в Португалии летнюю резиденцию, достойную природного фидалго. Итак, со дня святого Антония он отдыхал в Синтре, теперь находится в Лисса-

боне, в отеле «Центральный», а затем поедет в Париж, где обосновался и устроил свои пенаты. Нет человека, добавил Маркос, более простого, веселого и добродушного. И если я желаю лично познакомиться с гением, то должен на следующий день, в воскресенье, после мессы в Лорето, ровно в два часа ждать у дверей Гаванского табачного магазина.

— Договорились? В два часа, с благоговейной точностью, после мессы!

Сердце мое забилося. Но я взял себя в руки, как Новалис на лестнице у Гегеля, и, расплачиваясь за шербет, сказал, что завтра, ровно в два часа (к мессе я не хожу), с благоговейной точностью буду ждать у табачного магазина.

## II

Я всю ночь придумывал глубокомысленные и прекрасные слова, какие скажу Фрадике Мендесу. Все они сводились к одному: горячей похвале «Лapidариям». Помню, я особенно тщательно отделявал и отшлифовывал следующую фразу: «Форма ваших стихов — божественный мрамор, в котором трепещет человеческая душа».

Целое утро я посвятил своему туалету. Можно было подумать, что меня ждет встреча не с Фрадике Мендесом, а с Анной де Леон; надо сказать, что под утро я видел во сне, соединившем в себе эмоцию и ученость, что гуляю с ней по обсаженной лилиями священной дороге между Афинами и Элевсисом: мы обрываем лепестки и беседуем об учении Платона и о метрике «Лapidарий». Я нанял пролетку, чтобы не забрызгать лакированные ботинки на политом водой макадаме, и ровно в два часа подкатил к дверям Гаванского табачного магазина — бледный, надушенный, взволнованный, с огромной розой в петлице. Такие мы были в 1867 году!

Маркос Видигал уже стоял на месте, покусывая от нетерпения кончик сигары. Он вскочил в мою пролетку, и мы помчались через площадь Лорето, сверкавшую под августовским солнцем.

На улице Розмаринов, силясь побороть ребяческое волнение, я спросил своего спутника, когда Фрадике собирается выпустить в свет «Лapidарии». Покрывая голосом грохот колес, Видигал крикнул:

— Никогда!

И он рассказал мне, что опубликование известных мне отрывков в «Сентябрьской революции» чуть было не вызвало «идейного разрыва» между ним и Фрадики. Как-то раз, завтракая у Карлоса в Синтре, пока тот курил персидский чубук, Видигал, на правах старого приятеля, земляка и родственника, открыл без спроса лежавший на столе бювар из черного бархата и, к своему удивлению, обнаружил листы бумаги, исписанные уже пожелтевшими чернилами. Это были «Лапидарии». Видигал прочел лежавшую сверху «Серенаду сатаны», пришел в восторг и попросил у Фрадики разрешения напечатать в «Революции» некоторые из этих великолепных строф. Двоюродный брат улыбнулся и дал согласие, но при одном условии: что они будут подписаны псевдонимом. Каким? Фрадики доверил это дело фантазии своего кузена. Но когда Видигал в редакции уже читал корректуру, на ум ему ничего не приходило, кроме затасканных, навязших в зубах псевдонимов, вроде: «Независимый», «Друг истины», «Наблюдатель»... Ничего нового, такого, что могло бы достойным образом фигурировать под столь новаторскими стихами. И он сказал самому себе: «Довольно! В величии нет ничего постыдного. Поставлю его настоящее имя!» Когда Фрадики увидел номер «Сентябрьской революции», он изменился в лице и ледяным тоном заявил Видигалу, что тот болтун, мещанин и филистер. На этом месте своего повествования Видигал остановился и спросил, что такое филистер. Я не знал; но слово это мне понравилось: в нем было что-то желчное. Помнится, в тот же день вечером, в кафе Мартиньо, я обозвал филистером почтенного автора «Аве, Цезарь».

— Так что, — заключил Видигал, — о «Лапидариях» лучше даже не заикайся.

Да, думал я. Стало быть, Фрадики, подобно канцлеру Бэкону и другим большим людям, чье величие заключается в действии, предпочитает скрывать свой тонкий поэтический дар от мира, в котором правит корысть и грубая сила... А может быть, этот гнев при виде своего имени под стихами, каких не постыдился бы Леконт де Лиль, был благородной яростью художника, вечно недовольного собой и не желающего публично признать своими стихи, в которых он сам видит несовершенства! Столь гордый и необыкновенный образ мыслей подлил масла в огонь моего восхищения. Когда мы остановились у отеля «Центральный», я дрожал от робости.

Я почти обрадовался, услышав слова портье: «Сеньор Фрадики Мендес утром заказал коляску и уехал в Белен». Видигал так расстроился, что даже побледнел.

— Коляску? В Белен?.. Да чего он не видел в Белене?

Я заступился за отечественную архитектуру и пробормотал, что в Белене имеется церковь иеронимитов. В это мгновение на улицу въехал экипаж, запряженный парой взмыленных лошадей, которые резвой рысью подкатили его к отелю и стали у подъезда. Из экипажа легким в сильный прыжок выскочил молодой человек. Это был Фрадике Мендес.

Видигал, засуетившись, представил меня как поэта и своего приятеля. Тот с улыбкой протянул руку — белую, холеную руку, на которой алел рубин. Дружески похлопывая по плечу своего кузена, он одновременно начал вскрывать конверт, поданный ему швейцаром.

Я мог вдоволь насмотреться на человека, чеканившего строфы «Лapidарий», на друга Мадзини, завоевателя Обеих Сицилий, возлюбленного Анны де Леон! Меня с первого же взгляда пленила его телесная крепость, атлетические пропорции сильной фигуры, впечатление спокойного равновесия и уверенности, с какой он занимал свое место среди людей. Казалось, он чувствует себя в жизни так же свободно и устойчиво, как ступает по мостовой своими большими лакированными ботинками, блестящими из-под полотняных гетр. Лицо его, внушительного, орлиного склада — такие лица называют обычно римскими или цезарскими — не было, однако, отягощено той дряблой пухлостью, которой живописцы и скульпторы всех школ неизменно наделяют римских цезарей, стараясь придать им величие. Я находил в нем скорее чистые и тонкие черты молодого Лукреция, в расцвете силы и славы, погруженного в мысли о добродетели и искусстве. Бороду свою, не особенно густую, он брил, так что на молочно-белой, чистой коже вы не замечали ни единого волоска, ни единой тени; только легкий, чуть курчавившийся пушок обрамлял его влажные, румяные губы тонкого рисунка, с равным совершенством созданные природой для усмешки и поцелуя. Свойственное этому человеку редкостное сочетание энергии и утонченности сосредоточивалось в его глазах — небольших черных глазах, блестящих, как два оникса, и пронизывавших собеседника острым, пожалуй, чересчур пристальным взглядом, который ввинчивался в вас без всякого усилия, как стальное сверло в древесину.

На нем был просторный пиджак из темной, мягкой ткани и брюки из той же материи, которые лежали без единой морщинки. Белый полотняный жилет застегивался на пуговицы из бледного коралла, а узел черного атласного галстука, над которым ослепительно белел отложной воротничок, был завязан

с тем же четким совершенством, которое пленяло меня в его стихах.

Не знаю, был ли он красивым мужчиной на женский взгляд. Но мне он казался великолепным образчиком мужской красоты: вся его статная фигура излучала какое-то спокойное изящество и покоряла несокрушимым здоровьем. Жизнь, проходившая в столь разнообразной и утомительной деятельности, не оставила никаких следов усталости на его лице. Казалось, он только что появился на свет из живых недр матери-природы — вот такой, как есть: аккуратно выбритый, в черном костюме. И хотя Видигал сообщил мне, что как раз в Петров день Фрадики отпраздновал в Синтре тридцать третью годовщину своего появления на свет, в теле его все еще чувствовалась мускулистая и гибкая ловкость эфеба, напоминавшая отрочество древнего мира. Лишь когда он улыбался или смотрел на вас, вы видели, что за плечами у него двадцать веков истории литературы.

Пробежав поданное швейцаром письмо, Фрадики Мендес развел руками с видом комического бессилия и воззвал к сочувствию Видигала: опять таможня, вечный источник канители! Теперь у них застряла египетская мумия...

— Мумия?

Ну да, историческая реликвия: подлинная мумия высокочтимого Пентаура, летописца и ученого книжника из храма Аммона в Фивах. Фрадики выписал эту мумию из Парижа, чтобы преподнести супруге английского дипломата, леди Росс, с которой подружился в Афинах; в расцвете молодости и светских успехов эта дама коллекционировала погребальные древности Египта и Ассирии... Но, несмотря на самые хитроумные уловки, Фрадики не находил способа вырвать покойного мудреца из таможенных хранилищ, где вместе с ним водворились смятение и страх. В тот же вечер, когда Пентаур, завернутый в священные пелены и заколоченный в ящик, высадился на берег, растерявшаяся таможня дала знать в полицию. Подозрение в убийстве вскоре отпало, но возникла новая непреодолимая трудность: под какую графу таможенного тарифа подвести останки Рамзесова летописца? Фрадики предлагал числить его по статье о вяленых сельдях. В сущности, что такое вяленая селедка, как не мумия живой селедки, только без ритуальных пелен и священных надписей? Не все ли равно казне, кем вы были: рыбой или летописцем? В обоих случаях перед таможней тело существа, некогда живого, а теперь высушенного путем вяления. Плавали ли вы при жизни в стае рыб по волнам



Северного моря или четыре тысячи лет назад, на берегах Нила, заносили на свитки молитвы Аммону и комментировали главы о конце дня — это, безусловно, не входит в компетенцию фискальных властей. Разве не логично? Тем не менее таможенное начальство продолжало сомневаться и чесать в затылке, созерцающая пестрый ящик, в котором было заключено столько мудрости и столько благочестия... А вот это письмо прислали друзья, любезные Пинтос Бастосы; они советуют действовать простым, исконно португальским способом: добыть записочку от министра финансов и вызволить почтенного летописца без всякой пошлины вообще. Но кто достанет такую записочку, если не Маркос Видигал — столп «возрожденцев» и их музыкальный обозреватель?

Видигал, сияя, потирал руки. Вот, наконец, достойное его дело! Ведь это даже элегантно: вырвать из лап казны мумию придворного египетских фараонов! Схватив письмо Пинтос Бастосов, Маркос вскочил в пролетку и крикнул кучеру адрес министра, своего политического единомышленника, тоже писавшего в «Сентябрьской революции». И вот я остался один с Фрадики Мендесом. Он пригласил меня подняться к нему в номер и в ожидании Видигала выпить содовой с лимоном.

Поднимаясь по лестнице, автор «Лапидарий» сказал что-то насчет тяжелого августовского зноя. В это мгновение я беглым взглядом оценивал в зеркале покроей моего сюртука и свежесть моей розы, — и, сам не знаю как, выпалил следующее:

— Что говорить, жара аспидская!

Не успели замереть в воздухе эти вульгарные звуки, как я впал в глубокое уныние: как можно было произнести здесь столь грубые слова, уместные разве лишь в табачной лавке, и оскорбить ими, как жирными пятнами, общество большого художника, автора «Лапидарий», человека, беседовавшего на берегу моря с Виктором Гюго!.. Обливаясь потом, совершенно подавленный, я вошел в номер вслед за Фрадики. Тщетно силился я подыскать какую-нибудь другую фразу насчет жары — хорошо построенную, оригинальную, остроумную... Тщетно! В голову мне приходили все те же пошлости, в том же плебейском духе: «Того и гляди, живьем сваришься!»; «Чертово пекло!»; «Хоть сало топить!»... Я пережил одну из тех жестоких минут, какие выпадают на долю лишь двадцатилетним начинающим поэтам, навеки метят душу и никогда не забываются.

К счастью, Фрадики исчез за портьерой алькова, и я смог утереть пот и рассудить, что глубокие мыслители всегда выражаются так: с грубоватой прямоотой. Эта мысль немного успо-

коила меня, и на смену смущению пришло любопытство. Мне захотелось обнаружить в обстановке гостиничного номера что-нибудь, что выдавало бы оригинальность жившего здесь человека. Я увидел только несколько стульев, обитых потертым темно-синим репсом, люстру под тюлевым чехлом, консоль на высоких золоченых ножках, стоявшую между распахнутыми окнами, откуда видна была река. На мраморной доске этой консоли и среди книг, загромаждавших старый письменный стол черного дерева, возвышались великолепные букеты цветов, а в углу комнаты я увидел мягкий, широкий диван (поставленный, несомненно, самим Фради́ке), покрытый двумя восточными одеялами слепающе ярких расцветок. И еще в комнате блуждал какой-то странный аромат, тоже отдававший востоком, — пахло как будто измирскими розами, с примесью корицы и майорана.

Фради́ке Мендес вышел из алькова в шелковом китайском халате — настоящем, какие носят мандарины, — из зеленого шелка с вышивкой в виде цветков миндального дерева. Я изумился и окончательно оробел. Тут я заметил, что волосы у Фради́ке темно-каштанового цвета и что они слегка вьются на лбу, белом и гладком, как слоновая кость нормандской полировки. А глаза, светившиеся теперь приветливым прямодушием, утратили свою глубокую черноту, которую я мысленно сравнивал с ониксом, и приобрели тот теплый коричневатый оттенок, какой бывает у гаванского табака. Он закурил сигаретку и велел подать содовую с лимоном: это распоряжение относилось к удивительнейшему на вид слуге — седоволосому, важному, носившему широкие брюки в черно-зеленую клетку, жемчужную булавку в галстук и три желтые гвоздики в петлице. Я разобрал, что звали этого роскошного слугу Смит. Смущение мое все возрастало. Фради́ке, улыбнувшись, сказал тоном искреннего расположения:

— Наш Маркос — настоящий клад.

Я согласился и стал рассказывать, как давно знаю и люблю Видигала — еще с первого курса университета, с беспутных времен, посвященных концерти́не и зубрежке по «себенте». Фради́ке тоже вспомнил Коимбру и весело осведомился о Педро Пенедо, Паэсе и других профессорах вымирающего тупоумного типа; затем он заговорил о тетках Камела, милых старухах, которые общались со столькими поколениями вертопрахов-студентов и все же сумели соблюсти свою девственность, в награду за что обрели право вечно жить на небе и играть на арфе рядом со святой Цецилией... Трактирчик теток Камела

был для него одним из самых приятных воспоминаний о Коимбре: как забыть обильные ужины, стоявшие всего семьдесят рейсов, шумную компанию студентов в полутемном погребеке, где плохо видно сквозь облака табачного дыма, где каждый держит свою тарелку сардинок на коленях и воздух гудит от громогласных дискуссий о философии и искусстве! А что это были за сардинки! Какое божественное умение жарить рыбу! Сколько раз он потом вспоминал в Париже взрывы смеха, юношеские мечты и вкусные угощения!..

Все это говорилось просто, искренне, молодо; я мысленно определил его тон как «кристальный». Затем Фрадику растянулся на диване, а я остался у стола, где лепестки роз осыпались на томики Дарвина и падре Мануэла Бернардеса. Робость моя немного рассеялась, и я весь горел желанием поделиться с этим гениальным человеком своими мыслями о литературе, позабыв, что он, подобно Бэкону, предпочитает скрывать свой поэтический талант, или, недовольный этими творениями, не желает признавать их своими; словом, я заговорил о «Лапидариях».

Фрадику Мендес вынул изо рта сигарету и весело расхохотался; хохот его мог бы показаться насмешливым, если бы не румянец, выступивший на молочно-белом лице. Затем он сказал, что опубликование этих стихов под его настоящим именем было плодом коварства и легкомыслия Видигала. Фрадику не считал возможным подписываться под фрагментами рифмованной прозы, которые он пятнадцать лет назад, в возрасте подражаний, скопировал с Леконта де Лиля. Случилось это в Париже, летом, когда он жил в мансарде у Люксембургского сада, весь горел верой в свой талант и жадой труда и при каждой новой рифме готов был счесть себя гениальным новатором...

Я горячо восстал против этих его слов и заявил, что после Бодлера ничто не производило на меня такого впечатления, как «Лапидарии»! И я уже приготовился сказать свою любимую фразу, которую так усердно обдумывал всю ночь: «Форма ваших стихов — это божественный мрамор...», но Фрадику встал с дивана и с любопытством устремил на меня свои пронизательные ониковые глаза, пронизывавшие насквозь.

— Вижу, — сказал он, — что вы большой почитатель шутника, сочинившего «Цветы зла».

Я вспыхнул, услышав столь обидный эпитет, и строго возразил, что для меня Бодлер сияет над современной поэзией подобно великому светочу, сразу после Виктора Гюго. Фрадику

с отеческой улыбкой уверил меня, что скоро я утрачу эту иллюзию. В сущности, Бодлер (с которым он лично знаком) — вовсе не поэт. Поэзия подразумевает эмоцию, а Бодлер — человек до мозга костей рассудочный; он лишь психолог и аналитик, искусный диагност патологических душевных состояний... «Цветы зла» содержат резюме нравственных страданий, которые Бодлер очень тонко понимал, но сам никогда не испытывал. Его творчество напоминает труд ученого-патолога, чье сердце бьется спокойно и ровно в то время, когда, сидя за рабочим столом, он заносит на лист бумаги свои наблюдения относительно страшных болезней сердца. Это несомненно, и вот доказательство: Бодлер написал «Цветы зла» сначала в прозе и только потом, проверив правильность своего анализа, придал им стихотворную форму, пользуясь словарем рифм! Впрочем (добавил этот странный человек), во Франции вообще нет поэтов. Адекватное выражение ясного французского ума — проза. Настоящие ценители всегда будут предпочитать тех французских поэтов, чьи творения отличаются точностью, ясностью и лаконизмом, то есть качествами, присущими хорошей прозе; во Франции поэт тем популярней, чем больше он обладает талантом прозаика. Буало останется классиком и одним из бессмертных в те времена, когда бурливая лирика Гюго будет во Франции окончательно забыта.

Все эти сногшибательные кощунства преподносились неторопливо, проникновенным тоном. Фрадики произносил каждое слово так, словно высекал его резцом. Я был потрясен. Буало, этот педант, этот придворный льстец, со своей «Одой на взятие Намюра», со своим париком и своей линейкой для битья по рукам нерадивых учеников, останется на вершинах французской поэзии, а создатель «Легенды веков» исчезнет без следа, как вздох прошумевшего ветра! Все это казалось мне пустым оригинальничанием, каким иные любят удивлять простачков, короче, нахальством (так я мысленно говорил себе). Я мог бы привести тысячу веских, неоспоримых возражений, но не решался: ведь я не сумел бы облечь их в ту прозрачную, геометрически четкую форму, в какую облакал свои мысли автор «Лапидарий»! Собственная трусость и невысказанные протесты в защиту кумиров моей юности мучили меня, я задышался и чувствовал себя прескверно. Поскорее бы выбраться вон из этой комнаты, со всеми этими розами, корицами и майоранами; здесь дышалось вдвойне тяжело — в смешанной атмосфере гарема и академии.

В то же время мне казалось унижительным, что в беседе с другом Мадзини и Гюго я сумел сказать лишь несколько убогих слов о Педро Пенедо и дешевом винце теток Камела. Мне все еще хотелось поразить Фрадики критической зоркостью, обнаружить перед ним литературный вкус, и я сделал еще одну попытку блеснуть своей фразой о «Лапидариях». Улыбаясь и теребя ус, я пробормотал:

— Во всяком случае, форма вашего стиха — это мрамор...

Тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Видигал.

— Все в порядке! — крикнул он. — Покойник свободен!

Министр финансов, любитель поэзии и красноречия, искренне заинтересовался мумией «коллеги» и обещал избавить ее от недостойного обложения по селедочному тарифу. Его превосходительство даже прибавил: «Нет, нет! Он пересечет границу беспрепятственно, со всеми почестями, подобающими классику!» Пентаур завтра же покинет таможду и въедет в город на извозчике!

Фрадики рассмеялся, услышав слово «классик» в применении к храмовому писцу времен Рамзеса, а торжествующий Видигал присел к роялю и сыграл бравурную партию из «Великой герцогини». Тогда, внезапно охваченный печалью и сознанием своего ничтожества, я протянул руку за шляпой. Фрадики не стал меня удерживать, только немного проводил по коридору; его улыбка и рукопожатие были безупречно любезны. Очутившись на улице, я отвел душу возгласом: «Что за несносный педант!»

Да, педант, но совершенно нового рода, не похожий ни на кого из людей, с которыми мне до сих пор приходилось встречаться! И вечером, в переулке Гуарда-Мор, — правда, утаив неприличные восхваления Буало, чтобы ничем не испортить впечатления, — я описывал Ж. Тейшейре де Азеведо идеализированного Фрадики; все в нем было неотразимо: и мысли, и дар слова, и шелковый халат, и молочно-белое лицо с чертами молодого Лукреция, и духи, которыми он душился, и остроумие, и эрудиция, и вкус!

Ж. Тейшейра де Азеведо загорался медленно и не без копоты. Он сказал, что мой новый знакомый, видимо, большой ломака и актер. Однако согласился, что следует изучить поближе «театральный механизм, устроенный с такой роскошью».

Несколько дней спустя мы отправились вдвоем в отель «Центральный», опять в наемном экипаже. Я повязал на шею атласный галстук и воткнул в петлицу гардению. Ж. Тейшейра

де Азеведо, которого называли Диогеном XIX века, держал в руках увесистую палку с железным наконечником; на голове у него была широкополая багезская шляпа с замасленными полями, на плечах заношенная и пестрешшая заплатами куртка, взятая у слуги, на ногах крестьянские деревянные башмаки. Все это было тщательно продумано, стоило немалых денег, внушало отвращение самому Тейшейре и имело единственную цель — эпатировать Фрадику Мендеса, гордо бросив в лицо этому скептику и баловню фортуны, от имени всех демократов и идеалистов, нравственное величие заплаты и суровую философию грязного пятна. Таковы были мы в 1867 году!

Все пропало даром — и моя гардения, и стоическое неряшество моего друга. Сеньор Фрадика Мендес (объявил нам портье) отбыл накануне из Португалии на пароходе, который ушел в Марокко за партией скота.

### III

Прошло несколько лет. Я работал, путешествовал, научился лучше понимать людей и проникать в сущность явлений, утратил слепое поклонение форме и больше не перечитывал Бодлера. Маркос Видигал посредством «Сентябрьской революции» вознесся от музыкальных обзоров к бюрократическим высотам и отправлял государственную службу в Индии. Азиатские досуги, предоставленные короной, он снова посвящал концертированию и истории музыки; таким образом, я лишился милого сердцу друга, унесенного с берегов Тэжо на берега Мандови, и мне не от кого было узнать что-либо новое про автора «Лапидарий».

Но воспоминание об этом удивительном человеке не изгладилось из моей памяти... Напротив, время от времени я вдруг снова видел перед собой, видел ясно, осязательно-живо, молодое лицо с молочно-белой кожей, настойчивые, сверлящие глаза табачного цвета, губы, изогнутые скептической улыбкой, в которой сквозили двадцать веков литературы...

В 1871 году я путешествовал по Египту. Как-то раз я спустился по течению Нила, затопившего берега Мемфиса или, вернее, того места, где когда-то находился Мемфис, я плыл сквозь пальмовые рощи, стоявшие в воде и напоминавшие, на фоне лунной восточной ночи, длинные аркады монастырских галерей с их торжественно-печальной отрешенностью от всего житейского. Все было безлюдно кругом, царила глубокая тишина

мертвой земли, нарушаемая лишь размеренным плеском весел и протяжной песней лодочника... И вдруг я увидел (хотя ничто, казалось, не должно было вызвать этот образ), отчетливо увидел, что рядом с моей лодкой, разрезая вместе с нею полосы света и тени, плывет комната отеля «Центральный», с большим диваном спящие ярких расцветок; а на диване, в шелковом халате, дымя сигаретой, лежит Фрадики, и провозглашает бессмертие Буало! И сам я уже был не на Востоке, не в Мемфисе, не плыл по медленным волнам Нила; нет, я тоже сидел в этом номере, на стуле, обитом синим репсом, под люстрой в тюлевом чехле, перед окнами, выходившими на Тэжо, и слышал, как гремят внизу повозки, едущие к Арсеналу. Но я уже не испытывал прежней гнетущей робости. И пока мы таким образом плыли на веслах через фараоново царство к жилищу шейха Абу-Каира, я спорил с автором «Лapidарий» и высказывал в защиту Гюго и Бодлера тонкие, бесспорные суждения, которыми должен был сразить его в памятный августовский вечер. Араб-лодочник воспевал сады Дамаска, а я мысленно восклицал: «Но нельзя же не оценить в «Отверженных» высокую нравственную проповедь!»

На следующий день начинался праздник байрама. Я вернулся в Каир в самый знойный час, когда муэдзины поют третью молитву. И кого же я увидел, слезая с осла у подъезда отеля? Кто лежал на длинной соломенной кушетке с номером «Таймса» на коленях, закинув руки за голову и наслаждаясь теплом и светом? Это был он, Фрадики Мендес!

Я взбежал по ступенькам террасы, окликая его по имени и смеясь от удовольствия. Не нарушая своего блаженного покоя, он высвободил правую руку и не спеша протянул мне. Очарование его приветствия заключалось в том, что он сразу узнал меня, несмотря на мои синие очки и надвинутую на лоб панаму.

— Ну, как живете? Что подделывали после нашей встречи в «Центральном»? Давно в Каире?

Он сказал еще несколько слов, приветливо и лениво. Присев рядом на скамейке, я стирал с лица пыль, лежавшую на нем толстым слоем наподобие маски, и радостно улыбался. За несколько приятных минут, проведенных в разговоре с Фрадики Мендесом, я узнал, что неделю тому назад он приехал из Суэца, на обратном пути с берегов Евфрата и из Персии, где он странствовал, как в восточной сказке, один год и один день; что у него есть дебарие с красивым именем «Речная Роза»; экипаж уже набран, лодка ожидает у Булакской набережной: он хочет

подняться по Нилу до Верхнего Египта, доплыть до Нубии, забраться за Ибсамбул...

Знойное солнце Красного моря и долины Евфрата ничуть не изменило цвет его молочно-белой кожи. Как и в отеле «Центральный», он был одет в просторный черный пиджак и белый жилет, застегнутый на коралловые пуговицы. И строгий узел черного атласного галстука, в этой стране просторных и ярких одеяний, мог служить символом точного формализма западного мышления.

Он задал мне несколько вопросов о Лиссабоне, о Видигале, который нес свою чиновничью службу среди брахманских пальмовых рощ... Затем, видя, что я продолжаю утирать пот и пыль, посоветовал мне сходить в турецкую баню, что рядом с мечетью Эль-Майед, и отдохнуть до самого вечера, а потом пойти вместе с ним посмотреть на иллюминацию по случаю байрама.

Но вместо того чтобы отдохнуть, я после ванны решил отправиться на ослике за Каир, к гробницам халифов, по жгучей и пыльной Ливийской пустыне. Когда вечером я занял свое место в ресторане отеля «Шеперд» и склонился над тарелкой «супа из воловьих хвостов», усталость отбила у меня всякую охоту любоваться какими бы то ни было мусульманскими диковинами. Больше всего мне хотелось вытянуться на прохладных простынях в моей обитой циновками комнате и слушать романтическое журчанье фонтанов, бивших в саду, среди розовых кустов.

Фрадики Мендес тоже обедал за столиком, на котором между свечами пылал громадный цветок кактуса. Рядом на мавританской скамеечке сидела дама в белом; я видел только ее пышные светлые волосы и стройную, безупречных очертаний спину — точно у статуи Праксителя, затянутой в корсет от мадам Марсель. Напротив нее развалился в кресле мягкотелый, толстый мужчина. Его крупное лицо, обрамленное курчавой бородой и исполненное спокойной силы, напоминало лик Юпитера; где-то я видел эти черты, — может быть, в мраморе? Я стал припоминать. На какой улице, в каком музее любовался я этим олимпийским челом, в котором ничто, кроме усталого взгляда из-под тяжелых век, не выдавало слабость человеческой плоти?

Я кончил тем, что спросил у сенехского негра, обносившего столы макаронами, кто этот человек. На круглом черном лице заиграла ослепительная улыбка. Негр почтительно шепнул через стол:

— Cé-le-dieu!

Праведное небо! Le Dieu! Неужели чернокожий хочет сказать, что этот человек с курчавой бородой — бог? Определенный,



всем известный бог, проживающий в отеле «Шеперд»? Значит, я действительно видел на каком-нибудь алтаре, на какой-нибудь картине это лицо, которому нескончаемые молитвы и воскурения придали оттенок царственного величия? Я повторил свой вопрос, когда нубиец вернулся, неся на вытянутых ладонях дымящееся блюдо. И он опять отчеканил, рассеяв мои последние сомнения:

— C'est le Dieu! <sup>1</sup>

Бог! Я невольно улыбнулся: вот отличный литературный сюжет! Бог, во фраке, обедает в отеле «Шеперд»! И мало-помалу в моей сонной фантазии возникло какое-то расплывчатое, неясное видение, клубившееся как дым над полуугасшей жаровней. Передо мной был Олимп. Я видел древних богов и среди них похожего на Юпитера господина, с которым дружил Фрадики Мендес. Может быть, грезил я, неторопливо подцепляя вилкой ломтики помидора, боги вовсе не умерли; когда в Грецию явился апостол Павел, они ушли в какую-нибудь долину в Лаконии и там укрылись, посвящая предписанную новым богом праздность исконным своим занятиям: земледелию и скотоводству. Но в силу застарелой привычки вечно подражать людям, или оберегая себя от оскорблений со стороны стыдливого христианства, олимпийцы отныне скрывали под юбками и пиджаками свою ослепительную наготу, которой поклонялись древние. Боги усвоили новые человеческие обычаи и по необходимости (с каждым днем все труднее быть богом) или из любопытства (с каждым днем все интереснее быть человеком) все больше и больше превращались в людей. Теперь они уже нередко покидают тихие пастушеские долины и, ради развлечения или по делам, путешествуют с сундуками и саквояжами, перелистывая бедекеры. Некоторые из них отправляются в города, центры цивилизации, изучать чудеса книгопечатания, парламентаризма и газового освещения; другие по совету всезнающего Гермеса вносят разнообразие в скуку долгих летних месяцев Аттики и уезжают пить целебные воды в Виши и Карлсбад; третьи, наконец, тоскуя по былому всемогуществу, паломничают к развалинам храмов, где им некогда приносили кровь жертвенных животных и пчелиный мед. И вполне правдоподобно, что этот человек, чье исполненное величия и спокойной силы лицо воспроизводит черты Юпитера, каким видели его афинские скульпторы, — и есть Юпитер, громовержец, плодотворящее божество, отец богов, творец законов. Но что привело его сюда, в Каир, в отель «Ше-

---

<sup>1</sup> Это бог! (франц.)

перд», и зачем, одетый в синий фланелевый костюм, он ест тут макароны, непочтительно пристающие к божественной бороде, по которой некогда стекала амброзия? Несомненно, он повинует-ся все тому же нежному побуждению, что от начала до конца древнего мира, и на земле и на небе, неизменно вдохновляло действия Юпитера — неудержимого волокиты и женолюба. Что могло привлечь его в Каир, как не великолепная, неутолимая страсть к богиням и женщинам, над которой задумывались молодые эллинки, заучивая в языческом катехизисе памятные числа: день, когда он трепетал лебедиными крыльями в коленях у Леды, когда потряс бычьими рогами в объятиях Европы, пау золотыми каплями на лоно Данаи, взвился языком пламени к устам Эгины... А однажды, к негодованию Минервы и других строгих дам Олимпа, он прошагал через всю Македонию со стремянкой на плече, чтобы взобраться на высокую террасу к чернокудрой Семеле! Совершенно очевидно, что теперь он прибыл в Каир, чтобы подальше от глаз Юноны, своей располневшей и суровой супруги, предаться на свободе нежным чувствам к вот этой красивой женщине, чей пленительный стан был совместным творением Праксителя и мадам Марсель. Но она... Кто же она? Цвет ее кос, нежный изгиб шеи — все указывало, что это одна из прелестных нимф, обитавших на Ионических островах; когда-то христианские диаконы изгнали их из прохладных ручьев, чтобы крестить там обремененных долгами центурионов и престарелых матрон с густым пушком на подбородке, которым надоело тщетно паломничать к алтарям Афродиты. Но ни он, ни она не могли скрыть свое божественное происхождение: тело нимфы светилось сквозь батистовое платье, и если хорошенько вглядеться, вы могли заметить мерное биение жилки на мраморном челе Юпитера, продолжающего мысленно творить закон и распорядок...

Но как очутился здесь Фрадики и почему он запросто беседует с бессмертными, попивая с ними шампанское марки Клико и внимая несказанной гармонии речей Юпитера? Впрочем, ведь Фрадики — один из последних язычников, сохранивших верность Олимпу! Он поклоняется форме, и языческая веселость бьет в нем через край; он побывал в Лаконии; он говорит на языке богов, черпает у них вдохновение. Вполне естественно, что, встретив Юпитера в Каире, он отдал себя в добровольное услужение громовержцу в качестве чичероне и гида по варварским землям аллаха. И, конечно, теперь повезет бога и нимфу на «Речной Розе» вверх по Нилу, к повергнутым храмам, при виде которых Юпитер задумчиво проговорит, указывая зонти-

ком на остатки жертвенников: «Здесь я когда-то крепко нанюхался фимиама!..»

Так я грезил, поедая салат из помидоров, и одновременно уже обдумывал, как использую эти грезы, чтобы превратить их в рассказ и напечатать в «Португальской газете». Заглавие будет такое: «Последнее приключение Юпитера». Этот сюжет даст мне канву — смесь фантазии и эрудиции, — которую можно будет расцветить наблюдениями обычаев и пейзажей, накопленными в Египте. Но сказке я придам оттенок современности и пикантного реализма, а для этого нимфа вод во время плавания по Нилу изменит Юпитеру ради Фрадики Мендеса! В укромных уголках пальмовых рощ и под колоннами Озирисова храма она будет обвивать руками шею автора «Лапидарий» и шептать ему по-эллински нежные слова, гармоничней строф Гесиода, оставляя в складках его шевиотового костюма аромат амброзии; словом, на всем пути по нильской долине моя нимфа будет восхитительно *socoonne*<sup>1</sup>, пока отец богов, поглаживая курчавую бороду, будет невозмутимо творить законы и порядки — все такой же всемогущий, величавый, совершенный, предвечный и рогатый!

Воодушевившись, я уже сочинил первую строку рассказа: «Это было в Каире, в садах Шубре, когда кончался пост рамадана...» — как вдруг увидел, что Фрадики направляется ко мне, держа в руке чашку кофе. Юпитер тоже с усталым видом поднялся из-за стола. Это был грузный, мягкотелый бог, с первыми признаками ожирения; он слегка волочил ногу и, в общем, вполне подходил для той роли, которую я ему готовил на полосах «Португальской газеты». Что до его спутницы, все в ней было божественно: гармония, благоухание, походка, блеск!.. То была поистине нимфа, до того прекрасная, что я решил занять место Фрадики: я сам стану их чичероне и вместе с бессмертными поплыву под парусами по вечному Нилу. Прижавшись щекой к моей щеке (а не к щеке Фрадики), млея от страсти среди священных камней Мединет-Абу, мне, а не ему нимфа будет шептать нежные слова из Антологии! Пусть только в мечтах, но я сам совершу триумфальное путешествие в Фивы. И подписчики «Португальской газеты» подумают: «Эх, везет же некоторым!»

Фрадики подсел ко мне. Юпитер с нимфой, проходя мимо, подарили его улыбкой, прелесть которой коснулась и меня. Я поспешил пододвинуть стул для поэта «Лапидарий».

— Кто этот человек? Я где-то видел его лицо...

---

<sup>1</sup> Здесь: порочна, беспутна (*франц.*).

— Конечно, на портретах... Это Готье.

Готье! Теофиль Готье! Великий Тео! Безупречный мастер стиха, один из кумиров моей молодости! Значит, я не совсем ошибся. Если он не олимпийский бог, то, во всяком случае, истый язычник, сохранивший в нашу эпоху всеобщей бесцветной интеллектуальности древнее поклонение Линии и Краске! И дружба Фрадики Мендеса с автором «Мадемуазель де Мопен», старым паладином «Эрнани», еще больше подняла в моих глазах соотечественника, придававшего столь неповторимый блеск нашей блеклой родине! Спрашивая, что он будет пить — анисовку или можжевеловую, я погладил его по рукаву и не мог сдержать восхищения, когда он проявил редкую догадливость, разъяснив мне смысл слов, сказанных негром из Сенека. То, что я принял за благовестие о боге, означало просто — *c'est le deux!*<sup>1</sup> Готье занимал в отеле комнату номер два. Для черного варвара глава романтизма, творец пластичнейших образов был всего лишь «номером два»!

Тут я поделился с Фрадики своей языческой грезой: изложил сюжет рассказа, который собирался написать, и сообщил о великолепных днях любви, предназначенных ему в поездке по Нубии, а также попросил разрешения посвятить ему «Последнее приключение Юпитера». Фрадики с улыбкой согласился. Было бы весьма приятно, — признался он с полной откровенностью, — если бы фантазия моя осуществилась, ибо трудно найти женщину более прелестную и соблазнительную, чем эта наядя; зовут ее Жанна Морле, и она выступает в Варьете-Комик в амплу артистки на выходные роли. К сожалению, эта восхитительная женщина влюблена как кошка в некоего Сикара, биржевого маклера, который и привез ее в Каир, а сам в настоящее время обедает с греческими банкирами в саду Шубре...

— Во всяком случае, — добавил мой удивительный собеседник, — я никогда не забуду, дорогой земляк, вашего любезного намерения!

Декарт, подшучивая где-то над эпикурейской или атомистической физикой, говорит о привязанностях, в основе которых лежат *atomes crochus*, изогнутые атомы, имеющие форму рыболовного или брючного крючка: невидимым образом они сцепляют два сердца и образуют крепкие узы, словно выкованные из самофракийской бронзы, которые связывают и соединяют навеки два существа, так что постоянство этой связи торжествует над превратностями судьбы и переживает самую смерть. Любой

---

<sup>1</sup> Это номер два (франц.).

пустяк может привести к этому роковому (или благодатному) сцеплению атомов. Иногда достаточно одного взгляда, как случилось в Вероне с несчастными Ромео и Джульеттой; иногда достаточно одновременного прыжка двух детей, желающих сорвать плод в царском саду, что, например, положило начало классической дружбе Ореста и Пилада. И вот, точь-в-точь по этой теории (которая ничем не хуже всякой другой теории из области психологии чувств), любовная победа, великодушно придуманная мною для Фрадики, послужила, видимо, той таинственной, неосознанной причиной, тем пустяком, который вызвал в нем первый порыв симпатии ко мне; и эта симпатия все росла и крепла в течение шести лет духовного общения.

Не раз за эти годы Фрадики с приятным чувством вспоминал мое «любезное намерение» — обвить его шею руками Жанны Морле. Был ли он тронут этим поэтичным и окольным способом воздать должное его мужскому обаянию? Не знаю. Но когда мы встали из-за стола, чтобы идти смотреть на иллюминацию, Фрадики Мендес уже говорил мне «ты» — открыто, сердечно, даже задушевно.

Иллюминации на Востоке — так же, как у нас в Минье — устраиваются при помощи глиняных или стеклянных плосек, в которых горит свеча или фитиль из пакли. Но в Каире плоски развешиваются в таком безмерном изобилии (когда их оплачивает паша), что ветхий, полуразрушенный город, украсившись ими во славу аллаха, становится в полном смысле слова ослепительным — особенно для глаз европейца, нашпигованного литературой и склонного видеть на современном Востоке повторение чудес, вычитанных в «Тысяче и одной ночи» (которой никто никогда не читал).

В праздник байрама, оплачиваемый хедивом, плоскам не было числа, и все контуры зданий, самые ломаные и самые неопределенные, сияли в темноте, очерченные яркой полоской света. Длинные ряды сверкающих точек обрисовывали края террас; над открытыми дверями горели огненные подковы; со всех навесов ниспадала искрящаяся бахрома; огоньки плосек при каждом дуновении ветра дрожали и мерцали среди листвы деревьев; минареты, которые восточная поэзия издавна сравнивает с руками земли, простертыми к небу, блистали во мраке ночи роскошными браслетами, словно и впрямь то были руки красавиц, нарядившихся для праздничного вечера. Как будто весь день (сказал я Фрадики) на грязный город сыпалась золотая

пыль и густо осела на карнизе каждой мушрабие, на выступах каждой веранды, и теперь ярко засветилась с наступлением черной тихой ночи.

Но для меня еще более неожиданным и чудесным был вид праздничной толпы, которая заполнила все площади и базары говором и клубами пыли. Фрадике объяснял мне это зрелище, как объясняют детям, что нарисовано в книжке с картинками. Как глубоко и подробно мой необыкновенный соотечественник изучил Восток! Он знал все об этих людях, столь различных по цвету кожи и одежде: их национальность, историю, обычаи, место в мусульманской цивилизации. В застегнутом на все пуговицы пальто, с ременчатым хлыстиком под мышкой (в Египте это считается атрибутом власти), он не спеша указывал мне то на одну, то на другую живописную фигуру и давал объяснения, а я слушал его с жадным любопытством. Все это похоже — сказал я ему, смеясь, — на фантастический маскарад, устроенный в ночь безумия сумасшедшим этнографом, задумавшим собрать вместе все разновидности и типы семитов, какие только существовали на протяжении веков. Вот проворные, веселые феллахи в длинных рубахах из хлопчатобумажной ткани; вот угрюмые бедуины — они степенно вышагивают обтянутыми в полотно ногами, и поперек груди у них висят тяжелые ятаганы в красных ножнах; вон там — абадиты с копной волос на темени, из которой торчат длинные шипы дикобраза, окружая голову черным ореолом; те люди с надменной осанкой, чьи длинные усы развеваются по ветру, а богатое оружие блистает на шелковом поясе, в коротких камзолах с буфами и с газырями на груди — македонские арнауты; а те, похожие на прекрасные греческие статуи из черного дерева, — жители Сеннара; вон те, с желтыми платками на голове, длинная бахрома которых свисает наподобие занавески из золотых нитей, — наездники из Хеджаза. Сколько еще там было всяких племен и народностей — всех он мне показывал, обо всех мог рассказать! Грязные евреи с завитыми в штопор пейсами; копты в одеяниях на манер сенаторских тог; черные солдаты из Дарфура в полотняных блузах, с неотмытыми пятнами грязи и крови; улемы в зеленых тюрбанах; персы в войлочных клобуках; нищие из мечети, выставившие напоказ свои язвы; нарядные и умашенные маслами турецкие писцы в расшитых золотом жилетах... Всех не перечить! То был головокружительный карнавал, в пестроте которого то туда, то сюда двигались какие-то огромные, словно надутые воздухом, мешки, покачиваясь на трусивших рысцой осликах с упряжью из красного сафьяна: то были женщины!

И вся эта многоцветная, шумная толпа кружилась водоворотом под рокот бубнов, воззвания к аллаху, пронзительные стоны даурбака и протяжные песни, ни с чем не сравнимые арабские песни, исполненные такого печального и острого сладострастия, что, как выразился Фрадики, они «проникают в душу царапающей лаской». Кое-где среди ветхих, облупившихся домишек возвышался белый фасад: это был дворец какого-нибудь шейха или паши, с аркадой вокруг веранды, — и в глубине их, в безмолвном гареме, виднелись шелковые драпировки, золотое шитье, сверкали огни в хрустальных люстрах. Нет-нет там мелькал тонкий стан под светлым покрывалом... Тогда толпа замарала, смолкала, и из всех уст вырывался жаркий вздох восхищения.

Так гуляли мы, и вдруг, при выходе из Моуджика, Фрадики остановился и весьма торжественно приветствовал «салямом» какого-то бледного молодого человека с горящими глазами. Это восточное приветствие состоит в том, что вы прикасаетесь пальцами к своему лбу, потом к губам и к сердцу. Я с улыбкой сказал Фрадики Мендесу, что завидую его знакомству с молодым человеком в зеленой тунике и персидском клобуке, на что он ответил:

— Это улема из Багдада, отпрыск древнего рода, человек большого ума... Одна из самых тонких и обаятельных личностей, с которыми мне пришлось встретиться в Персии.

Тогда, полагаясь на нашу все крепнувшую дружбу, я спросил моего спутника, что удерживало его в Персии один год и один день, как бывает в сказках. Фрадики без всякой рисовки объяснил, что пробыл так долго на берегах Евфрата потому, что случайно замешался в религиозное движение, которое росло и развивалось с 1849 года и достигло в Персии триумфального успеха. Движение это называется «бабизм». Сначала Фрадики привлекло к их секте любопытство: ему хотелось увидеть своими глазами, как зарождается и основывается новая религия. Но мало-помалу бабизм пробудил в нем живой интерес и желание включиться в ряды посвященных — не из восторга перед доктриной, но из уважения к апостолам. Мы углубились в менее людный и потому более подходящий для откровенных разговоров переулочек, и Фрадики рассказал мне, что основоположником бабизма был некий Мирза-Мухамед, пророк, какие ежедневно появляются в беспрестанно кипящем котле религиозного брожения на востоке, где религия — наивысшая и важнейшая жизненная забота. Познакомившись через миссионеров с христианскими евангелиями, приобщенный ширазскими раввинами

к чистой традиции Моисеева закона, глубоко изучив гебризм — древнюю национальную религию Персии, — Мирза-Мухамед слил все эти учения с самой возвышенной идеей магометанства и объявил себя «Бабом». По-персидски «баб» означает «врата»: итак, он был вратами, единственными вратами, через которые люди могут проникнуть в сферу абсолютной Истины. Выражаясь точнее, Мирза-Мухамед считал себя привратником, которого бог поставил открывать верующим врата истины, и, следовательно, врата рая. Словом, он был чем-то вроде мессии и прошел весь путь мессии, ставший классическим: его первыми последователями были пастухи и женщины в какой-то безвестной деревне; он противостоял искушениям на некоей горе и выдержал все искупительные испытания; проповедовал новую веру, изъясняясь притчами; ужасал ученых-богословов в Мекке, предстал перед судом, перенес смертную муку и был не то обезглавлен, не то расстрелян в Тавризе, после рамадана.

Мусульманский мир (пояснил далее Фрадики) разделяется на два религиозных течения: шиитов и суннитов. Персы — шииты, турки — сунниты. Расхождение между ними, в сущности, скорее политическое и национальное, чем теологическое; и тем не менее феллах с Нила презирает перса с Евфрата именно за то, что тот еретик и собака. Особенно ярко и непримиримо выступают эти раздоры, когда шиитам и суннитам надо высказать свое мнение о каком-нибудь новом истолковании веры или о новом пророке. Бабизм встретил враждебный прием у шиитов, воздвигших на него гонение, и уже одно это само по себе означало, что сунниты примут его сочувственно и с почтением...

Из этой мысли и исходил Фрадики. В Багдаде он сблизился с одним из самых энергичных и влиятельных апостолов бабизма, Саидом эль-Суризом (излечив его сына от болотной лихорадки при помощи fruit salt <sup>1</sup>), и как-то раз, беседуя с ним на террасе обо всех этих возвышенных делах, посоветовал попробовать распространить бабизм среди земледельцев нильской долины и кочевников Ливии: у сторонников суннитской секты бабизм должен был найти благожелательный прием. Следуя традиционной эволюции всех сектантских движений, которые на Востоке (как, впрочем, и повсюду) поднимаются от бесхитростных масс народа к образованным классам, эта новая волна религиозного воодушевления, начав свое движение среди феллахов и бедуинов, докатится до мечетей Каира, проникнет, быть может, даже в Эль-Азхар, главный университет всего мусульманского мира;

---

<sup>1</sup> Растительной соли (англ.).



молодые улемы составят ядро юных энтузиастов, всегда готовых принять новую и воинствующую проповедь. Здесь бабизм приобретет богословский авторитет и литературный лоск, что позволит ему с успехом атаковать твердыни магометанской догмы. Эта мысль запала в душу Саида эль-Суриза. Бледный юноша, с которым Фрадики только что обменялся саямом, был послан от бабистов в Мединет-Абу (древние Фивы), чтобы узнать мнение шейха Али Хуссейна, который благодаря своей учености и добродетелям пользовался огромным влиянием во всей долине Нила. Фрадики, не находивший более на Западе ничего увлекательного и искренне интересуясь красочным явлением нового бога, тоже решил направиться в Фивы. Там он должен был встретиться с посланцем Санд эль-Суриза в Бени-Суеффе, на берегу Нила, когда луна пойдет на ущерб...

Я не поручусь за точность этих воспоминаний: с тех пор прошло слишком много лет. Знаю только, что признания Фрадики, выслушанные среди праздничного шума в Каире, поразили мое воображение. Баб, миссия к старому фиванскому шейху, новая вера, возникающая в недрах мусульманского мира, с неизбежным кортежем мучеников и энтузиастов, возможное основание бабистской империи — все это возвеличивало Фрадики Мендеса в моих глазах до грандиозных размеров. До сих пор я не был знаком ни с одним человеком, который был бы причастен к событиям столь возвышенным. Внимая тайнам, которые открывал мне Фрадики, я ощущал и гордость и страх. Вероятно, если бы апостол Павел, накануне отплытия в Грецию для проповеди божьего слова язычникам, гулял со мной по узким улочкам Селевкии и делился своими надеждами и мечтаниями, я испытывал бы такие же чувства!

Беседа так, мы вошли во двор мечети Эль-Азхар, где праздник байрама бушевал еще шумней и сверкал еще ослепительней. Но меня уже не могли поразить диковины мусульманского базара: ни альмеи, плясавшие в красно-золотом мелькании блесток, ни поэты пустыни, воспевавшие деяния Антара, ни дервиши под брезентовыми навесами, размеренно подвывавшие, славословя аллаха... Баб владел моими мыслями, я молчал и смутно думал о том, что надо бы и мне принять участие в этом духовном походе! Почему бы не отправиться в Фивы вместе с Фрадики? В самом деле, почему? Я молод, полон воодушевления... Не благородней, не достойней ли для мужчины вступить на поприще восточного евангелиста, чем банальнейшим образом вернуться в банальнейший Лиссабон и, сидя под газовым рожком, строчить статейки для «Португальской газеты»? И мало-

помалу из этих мыслей и грез возникло туманное видение, подобное облаку пара над кипящим горшком: я — ученик Баба, и в эту ночь багдадский улема приобщает меня к Истине. Я отправляюсь проповедовать и насаждать бабистскую веру. Куда же я поеду? Конечно, в Португалию, спасать в первую очередь самые родные мне души. Как святой Павел, я всхожу на галеру; бури бушуют вокруг моего апостольского корабля; образ Баба является мне над водами, и ясный взор Учителя наполняет мою душу несокрушимой силой. И вот, наконец, я вижу землю и светлым утром вхожу в светлое устье Тэжо, на чьих берегах уже столько веков не показывался ни один посланец божий. Издали я шлю проклятие храмам Лиссабона, вместилищам дряхлой и нечистой веры. Вот я высаживаюсь на берег и, бросив на произвол судьбы свой багаж, с чувством уже неземного отречения от еще земных благ бегу вверх по славной старой улице Розмаринов, становлюсь посреди площади Лорето в тот час, когда столоничальники не спеша выходят из-под Аркады, раскидывая руки и кричу: «Я есмь Врата!»

Апостолом бабизма я не стал, но, размечтавшись, потерял в толпе своего спутника. Сам я не мог бы добраться до отеля «Шеперд», да и как спросить дорогу, если знаешь по-арабски только два самых необходимых слова: «вода» и «любовь»? Я пережил несколько тревожных минут, мечась по внутреннему двору Эль-Азхара, спотыкаясь о переносные жаровни, на которых кипел кофе, неосмотрительно натыкаясь на неприветливых, вооруженных до зубов бедуинов. Я уже начал просто кричать, громко взывая к Фрадики, как вдруг увидел его самого: он преспокойно смотрел на танцующую альмею.

Но он сразу же и отошел, пожав плечами, и даже не позволил мне поглазеть на поэта, который стоял в нескольких шагах, в толпе очарованных феллахов и магрибинцев, опиравшихся на копьё, и нараспев, заунывно читал длинные полосы замасленной бумаги. Танец и поэзия — заметил Фрадики — два великих искусства Востока, находятся в состоянии самого жалкого упадка. Оба утратили чистоту традиционного стиля. Альмеи, развращенные примером казино в Эзбекии, где посетители отплясывают канкан, уже оскверняют рисунок старинного арабского танца, вскидывая ногу в воздух на нахальный марсельский лад! В поэзии торжествует посредственность с примесью фокусничанья. Никто не ценит, никто почти уже и не знает утонченных форм персидского классицизма. Источник вдохновения иссяк у мусульман; бедная восточная поэзия повторяет все одни и те же одряхлевшие темы, сдабривая их мишурной пышностью и посте-

пенно скатываясь, вслед за поэзией Европы, к самому варварскому парнассянству...

— Одним словом, — пробормотал я, — Восток...

— Так же бездарен, как Запад.

Мы медленно шли обратно в отель, и по пути Фрадики, докуривая сигару, говорил, что ныне дух Востока живет только в философии; каждое утро душу мусульманина потрясает проповедь новой морали — дар метафизиков базара и философов пустыни...

На следующий день я проводил Фрадику в Булак, откуда он должен был отплыть в Верхний Египет. Дебарие дожидалась его, причаленная к столбам в районе Старого Каира, среди барок из Ассуана, груженных чечевицей и сахарным тростником. Солнце скрылось за Ливийскими песками, небо отходило ко сну — прозрачное, без единого облачка, чистое во всей своей глубине, как душа праведника. Вереница поющих женщин с желтыми кувшинами на плече спускалась к благодатным водам Нила; и ибисы, прежде чем укрыться в гнездах, радостно взмахивали крыльями, словно благословляя кровли родного города, как в те времена, когда еще были богами.

Вслед за Фрадику я вошел в обитую тканью комфортабельную каюту с застекленными окнами. По стенам висело оружие на случай утренней охоты; груды книг дожидались своего часа, когда наступает знойное время дня и лодка медленно тянется на бечеве. Мы постояли на палубе, молча созерцая берега, которые на протяжении столетий пленяли воображение людей, ибо люди чувствовали, что здесь жизнь исполнена особенной благодати и высших радостей. Сколько их, со времен диких пастухов, разрушивших Танис, останавливалось на этом берегу и, точь-вточь как мы, глядело на эти воды, на это небо — алчными, восторженными или мечтательными глазами: цари Иудеи, цари Ассирии, цари Персии; величавые Птолемеи, наместники Рима и наместники Византии; Амру, посланец Мухаммеда, и Людовик Святой, посланец Христа; Александр Великий, грезивший о Восточной империи, и Бонапарт, воскресивший эту необъятную грезу; и еще все те, кто приходил сюда только для того, чтобы потом рассказать людям о прекрасной земле — от словоохотливого Геродота до первого из романтиков, бледного позера, поведавшего миру о страданиях Рене! Всем знаком дивный, не имеющий равных пейзаж. Нил течет величаво, как патриарх, неся изобилие. По ту его сторону зеленеют плодовые сады Родаха и кружат в небе голуби. Еще дальше — пальмы Гизе, тонкие, словно бронзовый рисунок по золоту заката, и под ними дерев-

ни, простые, как гнезда. Три пирамиды, гордясь своей вечностью, высятся на краю пустыни. Достаточно этого. Душа навсегда взята в плен и помнит. Чтобы жить среди этой дивной красоты, народы снова и снова вступают между собой в многолетние войны.

Но час отплытия наступил. Я обнял Фрадику с каким-то особенным волнением. Поднятый парус вздулся под теплым ветром, пробежавшим зыбью по листве мимоз. Лодочник прошел на нос суденышка, поднял ладони к небу, воскликнул: «Отчалим с именем аллаха!» Один из гребцов ударил по струнам даурбака, другой взялся за глиняную флейту; и под гул благословений и песен просторная барка двинулась вперед, разрезая священную волну и унося в Фивы моего несравненного друга.

#### IV

Прошло несколько лет. Я не встречался с Фрадикой Мендесом: все это время он путешествовал по Западной Европе, а я — по Америке, Антильским островам и по республикам Мексиканского залива. А когда я наконец осел в одном из старых земледельческих графств Англии, Фрадику, в пароксизме «этнографического любопытства», о котором он пишет Оливьере Мартинусу, снова пустился в долгий путь: в Бразилию, в пампы, по землям Чили и Патагонии.

Но нить взаимной симпатии, связавшая нас в Каире, не порвалась. Как ни была она тонка, мы не выпускали ее из рук в водовороте насущных забот, которые то и дело возникали на несовпадавших путях нашей жизни. Примерно раз в три месяца мы обменивались письмами, на пяти-шести листках почтовой бумаги. Я беспорядочно нагромождал в них образы и впечатления, Фрадику аккуратно заносил мысли и факты. Кроме этого, я получал вести о Фрадику от моих старых друзей: живя в Лиссабоне довольно длительное время — с осени 1875 до лета 1876 года, — он близко сошелся со многими членами нашего кружка и внес в их жизнь много очарования и новых мыслей.

При всем различии темпераментов и мировоззрений, все они, как и я, оценили этого обаятельного человека. Автор «Современной Португалии» писал мне в ноябре 1877 года: «Я встретил здесь твоего Фрадику; на мой взгляд, это самый замечательный португалец XIX века. Он похож на Декарта! Та же страсть к путешествиям, которая побуждала философа откладывать в сторону книги и «изучать великую книгу вселенной»; та же

любовь к роскоши и блеску, которая у Декарта выражалась в тяге к посещению дворцов и военных лагерей; та же склонность окружать тайной свою жизнь, те же неожиданные исчезновения; такая же скрытая, но неистребимая гордость своим дворянским происхождением; та же спокойная отвага, то же странное сочетание любви к романтике и точности мышления, фантазии и геометрии. При всем этом, ему недостает серьезной, высшей цели, которой служили бы все эти прекрасные качества. Боюсь, вместо «Рассуждения о методе» он оставит после себя разве водевиль». Несколько позже Рамальо Ортиган с нежностью пишет о нем в письме к одному из друзей: «Фрадики Мендес — самое прекрасное, самое законченное произведение цивилизации, каким случилось наслаждаться моему взору. Я не знаю человека, богаче одаренного. У него есть все, чтобы побеждать и в искусстве и в жизни. Роза, украшающая его петлицу, всегда самая свежая, а мысль, рожденная его умом, всегда самая оригинальная. Он может пройти без остановки пять миль, побивает на состязании лучших гребцов Оксфорда, один уходит в пустыню охотиться на тигра, с хлыстом в руке бросается на отряд абиссинских копейщиков, — а вечером, в гостиной, одетый во фрак от Кука, с черной жемчужиной на ослепительно-белой манишке, смотрит на женщин с той же неотразимой, властной улыбкой, с которой только что смотрел в глаза лишениям, опасностям и самой смерти. Он фехтует, как кавалер ордена святого Георгия, обладает самыми точными и новыми познаниями в физике, астрономии, филологии и метафизике. Видеть этого джентльмена и путешественника в его комнате, в непринужденной домашней обстановке, среди чемоданов русской кожи, щеток с ручками из резного серебра, шелковых китайских халатов и карабинов Винчестера, когда он занят своим туалетом, выбирает духи, пьет чай, присланный великим князем Владимиром, и диктует лакею, почтенному и благовоспитанному, как мажордом Людовика XIV, телеграммы, в которых он сообщает о своем здоровье в парижские и лондонские будуары, — это поистине урок и пример самого лучшего вкуса. А потом он запирается от суетного света и читает в подлиннике Софокла!»

Автор «Смерти Дон-Жуана» и «Музы на каникулах» называл Карлоса Фрадики «Сент-Бёвом в Алкидовой оболочке». В сохранившемся у меня письме тех времен он объясняет появление Фрадики на свет следующим образом: «Однажды бог взял кусочек Генриха Гейне, кусочек Шатобриана, кусочек Брумеля, пламенеющие обломки искателей приключений эпохи Возрождения и шепотку высохшего праха «бессмертных» из Фран-

цузской Академии, налил в эту смесь шампанского и типографской краски, вымесил ее своими всемогущими руками, в несколько приемов слепил Фрадику и, швырнув его на землю, сказал: «Ступай и одевайся у Пуля!» Наконец, Карлос Майер, сожалея вместе с Оливейрой Мартинсом о том, что многообразным и недюжинным способностям Фрадику недостает высшей цели, охарактеризовал личность моего друга следующими вдумчивыми и тонкими словами: «Голова Фрадику отлично устроена и оборудована. Не хватает только идеи, которая взяла бы в аренду это помещение, поселилась в нем и стала хозяйкой. Фрадику — гений, на котором висит объявление: «Сдается жильцам»».

В ту же зиму Фрадику познакомился с творцом «Современных од» и в одном из своих писем к Оливейре Мартинсу говорит о поэте с любовью и тонким пониманием. Последним из моих друзей свел с ним знакомство Ж. Тейшейра де Азеведо: это произошло летом 1877 года в Синтре, на вилле «Сарагоса», где Фрадику отдыхал после странствий по Бразилии и тихоокеанским республикам. Они часто беседовали и всегда расходились во мнениях. Ж. Тейшейра де Азеведо, человек нервный и страстный, не мог преодолеть своего отвращения к тому свойству Фрадику, которое он называл «флегматической трезвостью». Весь созданный для чувств, Тейшейра не мог полностью принять духовный мир человека, созданного для анализа. Большие знания Фрадику тоже не производили на него впечатления. «Ученость этого салонного педанта — просто-напросто словарь Ларусса, разведенный в одеколоне»... Наконец, некоторые аристократические привычки Фрадику (серебряные щеточки и шелковые сорочки), его язвительный голос, его умение излагать мысли самым безупречным и изысканным способом, манера пить шампанское с содовой водой и некоторые другие черты вызвали в моем старом товарище из переулка Гуарда-Мор непреодолимую враждебность. Но, как и Оливейра Мартинс, он признавал, что Фрадику — самый выдающийся португалец XIX века, и регулярно писал ему письма, в которых с ожесточением оспаривал все его взгляды.

В 1880 году (девять лет спустя после моего паломничества на Восток) я проводил святую неделю в Париже. Однажды вечером, после Оперы, я в одиночестве отправился ужинать у Биньона. Не успел я заняться устрицами и последними телеграммами из «Тан», как за газетой, которую я прислонил к графину, что-то забелело: жилет, манишка, галстук, лицо — все безупречной белизны, и очень спокойный голос проговорил: «Мы

растались несколько лет назад на Булакской набережной...» Я с криком вскочил, Фрадики поднялся с улыбкой — и метрдо-тель даже попятился, пораженный бурной, чисто южной экспан-сивностью, с какой я обнял моего друга. С этого вечера началась по-настоящему наша дружба, которая не прерывалась в течение восьми лет, всегда ровная, тесная, не омраченная ни малейшей тенью. Я предпочел бы называть наши отношения *интеллектуальной близостью*, так как дружба, связывавшая нас, никогда не выходила за рамки чисто духовных интересов. И во время радостных встреч с ним — то в Париже, то в Лондоне, то в Лисса-боне, — и в моей обширной с ним переписке с 1880 по 1887 год, я входил в общение только с его интеллектом; я непрерывно сле-дил все это время за его мыслью, принимал в ней деятельное участие — но ничего не знал о жизни его чувств и сердца. И, по правде говоря, не очень любопытствовал узнать: вероятно, уже тогда я угадывал, что неповторимая оригинальность этого человека заключается в его мышлении; эмоциональная же сторо-на его существа была создана из обычной человеческой глины и обладала всеми несовершенствами этого материала. Надо сказать, что с пасхального вечера в Париже, положившего начало нашим близким отношениям, мы навсегда усвоили правило — несколько высокомерное и, быть может, педантичное — быть друг для дру-га существами чисто духовного порядка. Если бы я в это время создал самостоятельную философскую систему, или сформулиро-вал заповеди новой религии, или похитил бы у зазевавшейся природы какой-нибудь из ее скрытых законов — Фрадики был бы первым, кого я ввел бы в курс своих занятий. Но я никогда не пошел бы к нему, чтобы поделиться личными переживания-ми, и не стал бы посвящать его в свои надежды или разочаро-вания. И Фрадики соблюдал со мной ту же целомудренную сдер-жанность; он являлся передо мной исключительно как существо мыслящее.

Я хорошо помню одно ясное майское утро, когда мы, разго-варивая, шли под руку через Тюильрийский сад под цветущими каштанами. Фрадики обстоятельно развивал мысль о том, что неограниченная демократизация науки, ее распространение сре-ди профанов — величайшая ошибка нашей цивилизации: этим мы подготовляем ее неминуемый нравственный крах... И вдруг, когда мы уже выходили на площадь Согласия, этот свободный философ, предрекавший в солнечный, зеленый майский день катастрофу и полную гибель нашего мира, внезапно останавли-вается и умолкает! Мимо нас быстрой рысью ехала по Рю-Ру-айяль запряженная породистой лошадей изящная карета. Внут-

ри, в атласном полумраке, я различил копну волос медового цвета. Фрадики торопливо пожимает мне руку, бормочет «до свиданья», подзывает пролетку, и извозчицья кляча уносит его на тужным галопом вслед за каретой, в сторону Кэ-д'Орсэ. «Женщина!» — подумал я. Да, женщина, источник многих страданий для моего друга. Как явствует из письма к госпоже де Жуар, датированного «Май, суббота» и начинающегося словами «Вчера я философствовал с приятелем в Тюильрийском саду», Фрадики мчался в этой пролетке навстречу тяжелому и оскорбительному разочарованию. В тот же день вечером я, как было условлено, зашел к нему в старый особняк на улице Варенн, где он с рождества устроил свою резиденцию, оставив ее с благородным и скромным комфортом. Когда я вошел в зал, прозванный нами «Героическим» (так как стены его были украшены четырьмя гобеленами Луки Корнелия, изображавшими подвиги Геркулеса), Фрадики отошел от окна, у которого стоял, глядя на погружавшийся в сумерки сад, и спокойно направился ко мне, заложив руки в карманы шелкового пиджака. И, словно ничто другое не занимало его весь тот день, кроме нашей утренней беседы в Тюильрийском саду, он продолжал развивать свою мысль:

— Да, так я не успел договорить... Наука, дорогой мой, должна, как в прежние времена, таиться в святилищах. Другого пути спасения от нравственной анархии у нас нет. Наука должна укрыться в святилищах. Она должна быть вверена лишь коллегии мудрецов, которая оградит ее от любопытства черни... Это программа для будущих поколений!

Быть может, если бы я взгляделся в его лицо, то уловил бы на нем бледность, следы волнения; но тон его был прост, тверд, — тон ученого, всецело занятого развитием своей мысли. Другой человек, испытав за несколько часов до того столь оскорбительное и тяжелое разочарование, хотя бы облегчил душу какими-нибудь незначущими словами, вроде: «Да, друг мой, глупая штука жизнь», или другими подобными. А он говорил о науке и о черни, четко формулируя для меня, а может быть, и для себя самого, свои мысли и заключения, чтобы мои глаза не могли заглянуть в горькие переживания его сердца или чтобы его собственные глаза не задерживались на них слишком долго.

В письме от 1883 года к Оливейре Мартинсу Фрадики пишет: «Человек, подобно древним царям Востока, должен являться взорам себе подобных не иначе, как всецело погруженным в дело всемогущих, то есть в мышление». Это гордое пра-



вило, которое было бы по плечу разве только Спинозе или Канту, он считал для себя законом. Во всяком случае, со мной он всегда держался именно так в продолжение всего нашего знакомства: он открывался мне полностью только с интеллектуальной стороны. Может быть, именно поэтому так велика была надо мной власть этого человека и так неотразимо очарование его личности.

## V

В складе ума Фрадики или, точнее, в его способе мышления больше всего поражала чрезвычайная свобода в сочетании с чрезвычайной смелостью. Я не встречал человека менее подверженного власти готовых суждений; и, безусловно, никто не выражал свои собственные, нигде не заимствованные мысли с таким безмятежным хладнокровием. «Пусть геометрия утверждает целых тридцать столетий,— пишет он в письме к Тейшейре де Азеведо — что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая; но если я нахожу, что от подъезда гостиницы «Универсаль» до подъезда Гаванского табачного магазина проще всего добраться через квартал святого Мартина и холм Благодатской церкви, то я прямо заявлю тридцативековой геометрии, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть блуждающая и капризная кривая!» Провозглашать независимость мысли с такой безудержной фантазией — само по себе достойно удивления; но смело утверждать ее права перед лицом величавой традиции, вопреки догме и в противовес изречениям ученых оракулов — это уже смелость, которую следует считать блистательным исключением!

В другом письме к Тейшейре де Азеведо Фрадики рассказывает об одном поляке, профессоре Г. Корнусском, критике из «Швейцарского обозрения». «Его личный вкус, — пишет Фрадики, — весьма индивидуальный и весьма определенный, решительно отвергал многие произведения искусства и литературы, которые критика испокон века единодушно признает образцовыми, — например, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, живопись Тициана, трагедии Расина, проповеди Боссюэ, наши «Луиады» и многое другое. Но всякий раз, когда профессорский долг или обязанности критика повелевали ему сказать правду, этот сильный, бодрый человек, храбрый участник двух восстаний, говорил себе, трепеща: «Нет! Неужели мое суждение вернее всего того, что на протяжении веков говорили светочи человечества? Кто знает? Может быть, в этих произведе-

денях действительно есть величие, и только мой ум бессилён понять его?» И бедный Корнусский, унылый как осенняя ночь, продолжал толковать о хорах из «Аталии» и о нагой натуре Тициана и твердить: «Как это прекрасно!»

Мало кто, подобно несчастному Корнусскому, страдает от разлада между собственным и общим мнением. Все грешат тем же раблепием мысли, но с легким сердцем — потому ли, что ум наш не одарен той смелостью, какая нужна, чтобы оспаривать освященные традицией авторитеты, ибо их суждение признается безошибочным, а познания исчерпывающими; потому ли, что общепринятые воззрения, смутно брезжущие в нашей памяти после давно прочитанных книг и когда-то слышанных разговоров, начинают казаться нам нашими собственными мыслями; потому ли, наконец, что эти общие суждения постепенно и незаметно приучают нас мыслить в согласии с ними, — но так или иначе, приходится признать печальную истину: в наше время все склонно думать и чувствовать так, как до нас и вокруг нас думали и чувствовали другие. «Человек XIX века, то есть европеец (ибо, по существу, только европеец является человеком XIX века), — говорит Фрадики в письме к Карлосу Майеру, — дышит мутным и несвежим воздухом, зараженным миазмами банальности. Зараза эта исходит от сорока тысяч томов, которые Англия, Франция и Германия, потея и кряхтя, ежегодно раскладывают на всех перекрестках. В этих сорока тысячах томов бесконечно и нудно повторяются, иногда с небольшими прикрасами, три-четыре мысли и три-четыре наблюдения, унаследованные нами от античности и Возрождения. Государство распространяет инфекцию банальности по каналам своих учебных заведений, и это, о Каролус, называется «давать образование»! Ребенок, едва разбирающий по складам свою первую «Книгу для чтения», уже впитывает в себя отложения общих мест; и в дальнейшем, день за днем, он всю жизнь поглощает сию пищу; газеты, журналы, брошюры, книги пичкают его общепринятыми мыслями, пока весь его ум не пропитается клейкой жижей банальности и не станет столь же бесплодным, как чернозем, варварски утрамбованный песком и щебнем. Чтобы добыть из своего мозга хотя бы одну свежую, сильную идею, нынешний европеец должен предварительно удалиться в пустыню или пампасы и там терпеливо ждать, пока живой ветер природы, хорошенько продув его голову, очистит ее от мусора, накопившегося за двадцать веков истории литературы, и вернет его мозгу утраченную девственность. Поэтому я утверждаю, о Каролус Майерензис, что, если европейский ум

гордо пожелает вернуть себе божественную способность творить, он должен года на два отправиться на излечение от книжной цивилизации к готтентотам или патагонцам. Патагония действует на мозг точно так, как вишейская минеральная на печень: очищает от вредных отложений и восстанавливает естественное функционирование. После двух лет дикарского житья среди готтентотов, повинующихся лишь логике инстинкта, что останется у цивилизованного европейца от понятий о Прогрессе, Морали, Религии, Индустрии, Политической экономии, Обществе и Искусстве? Одни лохмотья — точно так же, как через полтора года жизни среди болот и чащ на нем останутся лишь лохмотья брюк и пиджака, вывезенных из Европы. Не имея к своим услугам книг и журналов, чтобы возобновить запас *готовых идей*, равно как и спасительного портного Нунеса, чтобы купить новый комплект *готового платья*, европеец вскоре обретет свое благородное первобытное состояние: телесную наготу и умственную оригинальность. Когда он вернется в Европу, перед нами предстанет могучий и беспорочный Адам, девственный в литературном отношении. Череп его будет очищен от всех понятий и сведений, нагромодившихся там со времен Аристотеля, и он сможет бесстрашно приступить к самостоятельному рассмотрению дел человеческих. О Карлос, о ум, источающий остроумце, хочешь вернуться к Истокам и поехать со мной во вдохновительную Готтентотию? Там, свободные и голые, мы воткнем в землю наши мощные копыя, раскинемся на солнечном припеке между пальмой и ручейком, которые будут питать наше тело, и станем слушать голоса женщин, чьи песни прольют нам в душу ту толику поэзии и мечты, без которых она не может жить... И тогда, держась за почерневшие от загара бока, мы будем с тобой кататься от смеха, вспоминая о великих философских системах, о великих нравственных учениях, о великих экономических преобразованиях, о великих искусствоведческих теориях и о великих надувательствах, свивших гнездо в нашей Европе, где толкуются, как в муравейнике, шапокляки, одуревшие от суеверий цивилизации, жажды золота, педантизма науки, обмана переворотов, всесилia рутины и глупого самолюбования!..»

Так говорил Фрадики. Но «самостоятельное рассмотрение дел человеческих», посильное (как он утверждал) лишь обновленному Адаму, побывавшему в Патагонии и очистившему свой ум от долголетней пыли и мусора литературной истории, сам он предпринял с небывалой энергией и увлечением, не покидая почтенных камней улицы Варенн. А для этого требовалось

истинное бесстрашие. В светском обществе, с которым Фрадики Мендеса связывали и вкусы и привычки, — в обществе, где все регламентировано, откуда изгнаны воображение и инициатива, где нет места никакому своеобразию, а мысли (если они хотят нравиться) должны, как и манеры, быть общепринятыми, — и этом обществе Фрадики с его непокорной и неожиданной свободой суждений мог легко прослыть любителем оригинальничаний, падким на дешевую славу фатом, желающим, чтобы его заметили. Человек с самобытным и свежим умом, одаренный способностью мыслить оригинально и не скрывающий бурного, неудержимого кипения своей мысли, — такой человек еще более неприемлем для общества, чем неотесанный мужлан, чья неприглаженная шевелюра, громкий хохот и чрезмерная жестикуляция не согласуются с общепринятыми правилами поведения. О человеке с таким своеобразным, непричесанным образом мыслей сразу начнут неодобрительно шептать: «Он оригинальничает! Какие претензии!» А между тем Фрадики ничего так не презирал, как оригинальничание и претенциозность. Он не носил никаких галстуков, кроме темных. Он никогда не оказался бы в числе тех, кто, не питая ненависти к Диане, идет с пылающим факелом поджигать ее храм в Эфесе — для того лишь, чтобы вслед ему перешептывались на площадях перепуганные жители. Фрадики Мендес ни за что не согласился бы — так пишет он в одном письме к госпоже де Жуар — «одеть Истину в туалет из модного магазина ради права ввести ее в салон Анны де Варль, герцогини де Варль д'Оржемон. Если я появлюсь в ее особняке, то моя спутница войдет туда со мной нагая, совершенно нагая, и будет ступать по коврам босыми ногами, не пряча от глаз собравшихся гостей свои благородные голые сосцы. *Amicus Mundus, sed magis amica Veritas*<sup>1</sup>. Это прекрасное латинское изречение означает, дорогая крестная, что, по моим наблюдениям, правда мила женщинам и противна мужчинам, за что я люблю ее еще сильнее и преданней».

Независимость духа, широта интересов и предельная честность мешали моему другу увлечься всецело чем-нибудь одним и на этом одном остановиться; зато качества эти отлично подходили для той особой умственной работы, которую Фрадики предпочитал всякой другой. В 1882 году он писал Оливейре Мартинсу: «К сожалению, я не гождусь ни в ученые, ни в философы. Я не принадлежу к числу добросовестных, полезных людей, по темпераменту своему предназначенных для низшей

---

<sup>1</sup> Свет мне дорог, но истина дороже (*лат.*).

аналитической работы, которая носит название науки и сводит разрозненные факты к классам и закономерностям, объясняющим отдельные формы существования вселенной; не принадлежу я и к числу людей не столь положительных, но гениальных, по своей одаренности предназначенных для высшей аналитической работы, которая носит название философии и сводит отдельные классы и закономерности к общим формулам, объясняющим самую сущность вселенной. Итак, не будучи ни ученым, ни философом, я не могу содействовать благу себе подобных: не могу улучшить их благосостояние силой науки, производительницы богатств, и не могу возвысить их духовно силой философии, вдохновительницы поэзии. Доступ в историю также для меня закрыт — ибо если литератору достаточно обладать талантом, то историк обязан обладать добродетелью. А я!.. Следовательно, я могу быть лишь просто человеком, который с величайшим интересом и вниманием присматривается к фактам и впитывает идеи, следуя своей дорогой. В настоящее время, милый мой историк, лучшее эгоистическое наслаждение моего ума состоит в том, что я подступаю к какой-нибудь идее или какому-нибудь факту, проскальзываю в самую сердцевину, тщательно осматриваю, исследую то, что не исследовано, радуюсь неожиданностям и интеллектуальным эмоциям, которые эти идеи и факты могут дать, извлекаю тот урок или ту частичку истины, которая таится в них, а затем выбираюсь наружу и хладнокровно, спокойно и без спешки приступаю к другому факту или другой идее; и чувствую себя так, словно посещаю, один за другим, города какой-нибудь страны, где процветают искусства и царит роскошь. Так я когда-то путешествовал по Италии, очарованный блеском красок и форм. По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист».

Такого рода туристов немало и во Франции и в Англии; но, в отличие от них, Фрадики не ограничивался равнодушными замечками стороннего наблюдателя, столь привычными для иных европейцев: путешествуя по чужим городам, они не расстаются с европейскими понятиями и вкусами и замечают только воздушные силуэты зданий и пестрые одеяния толпы; Фрадики же (чтобы оставаться в рамках предложенного им образа) превращался в гражданина тех городов, которые он посещал. Он был глубоко убежден, что надо самому хотя бы на мгновение поверить, если хочешь понять чью-либо веру. Так, он сделался бабистом, чтобы понять и раскрыть для себя бабизм. В Париже он стал членом революционного клуба «Батиньольские пантеры» и ходил на их заседания в грязном пид-

жаке, заколотом булавкой, в надежде сорвать там «цветок какой-нибудь поучительной экстравагантности». В Лондоне он вступил в число «обрядовых позитивистов», которые в праздники контистского календаря возжигают ладан и мирру на алтаре Человечества и венчают розами бюст Огюста Конта. Он на некоторое время сблизился с теософами, внес крупную сумму денег на основание газеты «Спирит» и сам, закутаный в полотняный балахон, председательствовал на спиритических сеансах на улице Кардинэ, где вызывал духов, восседая между двумя знаменитыми медиумами: Патовым и леди Торган. Однажды он целое лето прожил в Сео-де-Урхель, католической цитадели карлизма, чтобы, по его выражению, «выяснить, какие побуждения и лозунги создают карлиста; потому что всякий сектант повинуется реальности побуждения и иллюзии лозунга». Случилось Фрадику быть и наперником князя Кобласкина, ибо ему хотелось «разобрать на части и посмотреть, как устроен мозг нигилиста». Он готовился (когда смерть внезапно настигла его) к новой поездке в Индию, чтобы стать подлинным буддистом и исчерпывающим образом постичь буддизм, на котором он сосредоточил свою любознательность и критическую мысль в последние годы жизни. О Фрадику Мендесе можно было бы сказать, что он был последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философов — блуждающей кометой, летящей сквозь сонмы идей, радостно упиваясь ими, получая от каждой частицу их субстанции, оставляя каждой из них частицу своего тепла и энергии. Люди, знавшие Фрадику поверхностно, называли его дилетантом. Нет! Глубокая серьезность (*earnestness*, как говорят англичане), с которой он доискивался реальной сути вещей, придавала его жизни ту значительность и действенность, в отсутствии которых уличал дилетантов Карлейль... В самом деле, дилетант порхает среди идей и фактов, подобно мотыльку (с которым его и сравнивают испокон веку). Вот он садится на лепесток, вот снова пускается в легкий полет, находя в этом изменчивом непостоянстве наивысшее наслаждение. Но Фрадику был подобен пчеле: из каждого растения он терпеливо добывал свой мед; я хочу сказать, из каждой веры он извлекал ту частицу истины, которая непременно в ней есть, раз люди из поколения в поколение сохраняют верность ей и свое страстное к ней внимание.

Таков был метод этого неугомонного и возвышенного ума. Что же было наиболее существенным и неотъемлемым в мышлении Фрадику? Насколько я понимаю — умение воспринимать

и проникать в самую суть вещей. В одном из своих писем к Антеро де Кенталу (письме чрезвычайно важном, при некоторой туманности мысли) Фрадики говорит: «Всякое явление обладает реальностью. Слово «реальность» не следует здесь рассматривать как точный философский термин: я употребляю его приблизительно, наугад, на ощупь, чтобы им обозначить в меру возможности некое трудно уловимое понятие, едва ли сводимое к словесному выражению. Итак, всякое явление обладает относительно нашею рассудка и его познавательной способности своей реальностью, то есть некоторыми существенными чертами или (выражаясь образно, как советует Бюффон) известными контурами, которые его ограничивают, определяют, придают ему собственный облик, выделяют его из диффузной совокупности неделимого мира и составляют точную, реальную и неповторимую форму его существования. Но невежество, заблуждения, предвзятые мысли, традиция, рутинная и, главное, самообман образуют для нас вокруг каждого явления некую туманную оболочку, которая затушевывает и искажает его точные контуры и мешает умственному взору видеть его истинную реальную и неповторимую форму существования. Это похоже на лондонский туман, скрывающий очертания домов... Я чувствую, что выражаю свою мысль неясно и неполно. За окном на светлом, ясном небе сияет солнце и заливают светом мой монастырский садик, утонувший под снегом; в чистом, светлом воздухе зимы все приобретает упругую реальность, и только мой ум потерял гибкость и текучесть философского мышления: я могу изъясняться только при помощи фигур, вырезанных из бумаги ножницами... Но ты поймешь меня, добрый и мудрый Антеро! Случалось ли тебе бывать в Лондоне осенью, в ноябре? В ноябрьское утро на лондонской улице бывает трудно различить, что представляет собой какая-то туманная масса, темнеющая перед тобой: статуя ли это героя или каменная стена? Какой-то сероватый мираж окутывает весь город — и, думая войти в храм, с удивлением видишь, что попал в трактир. Для большинства людей точно такой же туман окутывает реальность мира и бытия. И потому почти всякий их шаг — это запинка и почти всякое их суждение — ошибка; они постоянно путают храм с трактиром. Редко встречаешь умственное зрение настолько острое и сильное, чтобы оно способно было видеть сквозь этот туман и различать истинный контур реального. Вот что я хотел сказать, пли, вернее, пролепетать».

Так вот, Фрадики был обладателем такого редкостного умственного зрения. Даже одна его манера медленно обращать глаза на какой-либо предмет и «молчаливо вглядываться» (как выразался Оливейра Мартинс) уже раскрывала этот процесс концентрации и нацеливания умственного зрения, подобного сконцентрированному и нацеленному пучку лучей, под которым постепенно рассеивается туман и реальность выступает на свет в своей безошибочно точной и единственной форме.

Самым замечательным проявлением этого великолепного дара была его способность давать определения. Ум его видел с величайшей верностью, дар слова позволял передавать мысль с величайшей точностью, — и потому он умел определить сущность всякого явления глубоко и безошибочно. Помню, однажды вечером, в его парижской квартире на улице Варенн мы горячо спорили о природе искусства. Были приведены все определения искусства, какие давались, начиная с Платона; были придуманы новые — выражавшие, как обычно в таких случаях, более узкое понимание предмета, связанное с личным восприятием говорящего. Фрадики довольно долго молчал, пристально глядя в пространство. Наконец, медленно (эту медлительность многие люди, мало знавшие его, называли «академической») и тихо он сказал в надолго установившейся почтительной тишине: «Искусство — это образ природы, нарисованный воображением».

И я, безусловно, не знаю более исчерпывающего определения искусства! Прав был один наш общий друг, человек со смелой фантазией, когда говорил: «Если бы господь бог, сжалившись над нашим бессилием, пожелал в один прекрасный день открыть нам оттуда, из своей небесной пустыни, окончательное объяснение искусства, то в заоблачных громах мы вновь услышали бы оглушительное, как грохот сотни боевых колесниц, определение Фрадики!»

Редкая одаренность Фрадики опиралась на солидную и разностороннюю культуру. Опорой для исследовательской работы ему служили прочные и обширные познания. Его классические штудии были весьма основательны, благодаря чему в пору своего увлечения декоративной поэзией он смог написать на вульгарной латыни такую прекрасную небольшую поэму, как «*Laus Veneris tenebrosae*»<sup>1</sup>. Он свободно владел языками трех великих мыслящих народов — французским, английским и немецким. Знал он также арабский язык и, если верить Риазу-Эф-

---

<sup>1</sup> «Хвала сумрачной Венере» (лат.).



фенди, летописцу султана Абдул-Азиза, изъяснялся по-арабски бегло и правильно.

Естественные науки он очень любил и много ими занимался; неутолимая любознательность побуждала его изучать прилежно и с увлечением все то, из чего так стройно и совершенно складывается вселенная, начиная с насекомых и кончая звездами. Он изучал природу со страстью, вкладывая в это всю свою душу, ибо любил ее, особенно растения и животных, нежно и как-то по-буддийски. «Я люблю природу, — писал он мне в 1882 году, — ради нее самой, и в совокупности и в частностях; люблю и красоту и уродство ее неисчислимых форм, люблю ее как осязаемое и многообразное проявление, того единства, той неуловимой чувствами вышшей реальности, которой каждая религия и каждая философия дает особое имя; а я поклоняюсь ей под именем Жизни. Словом, я обожаю жизнь, и все ее формы: розу и язву, созвездие и — страшно вымолвить — советника Акасио. Я обожаю жизнь и, следовательно, обожаю все — ибо все, даже смерть, есть жизнь. Мертвое тело, лежащее в гробу, — такой же элемент жизни, как стремительно летящий в поднебесье орел. И вся моя религия вмещается в Афанасьевском символе веры, но с небольшим изменением: «Верую в Жизнь, всемогущую, вечную, сотворившую небо и землю...»

Но в то время, когда мы стали близкими друзьями, в 1880 году, его неутомимая мысль предпочитала социальные науки; особенно интересовало его все, связанное с доисторическим периодом жизни человечества. Он увлекался антропологией, лингвистикой, мифологией, изучением рас и организации первобытных обществ. Почти каждые три месяца в квартиру на улице Варенн прибывали груды книг, присланных издательством Ашетт. Новые и новые пачки специальных журналов громоздились на полу, покрытом караманским ковром, — и это значило, что какое-то направление науки пробудило настойчивый и страстный интерес моего друга. Я сам был свидетелем того, с каким воодушевлением он занимался мегалитическими памятниками Андалузии; озерными постройками; мифологией арийских народов; халдейской магией; расами Полинезии; обычным правом кафров; христианизацией языческих богов... Эти неутомимые изыскания продолжались до тех пор, пока они давали ему эмоциональные радости или привлекали новизной.

В один прекрасный день эти журналы и книги исчезали, и Фрадики победоносно заявлял, расхаживая широкими ша-

гами по очистившемуся ковру: «Я исчерпал весь сабизм!» — или: «Я извлек из полинезийцев все, что можно».

Но одной наукой он занимался постоянно и с особенным рвением: это была история. «С малых лет, — писал Фрадики Оливейре Мартинсу в одном из своих последних писем, в 1886 году, — я страстно люблю историю. Угадай почему, о историк! А потому, что она внушает мне приятное и успокоительное сознание человеческой солидарности. Когда мне минуло одиннадцать лет, бабушка, сочтя необходимым приучить мальчика (как она выражалась) к суровым сторонам жизни, вдруг вырвала меня из мирной дремоты, в которой протекали уроки падре Нунеса, и послала в школу ордена терциариев. Садовник отводил меня туда за руку; каждый день бабушка торжественно вручала мне медяк на покупку в кондитерской у тети Марты булочек для завтрака. Садовник, медяк, булочки и вообще все эти новые порядки уязвляли мою непомерную гордость юного дворянчика, ибо низводили меня на скромный уровень сыновей нашего управляющего. Но вот однажды, перелистывая иллюстрированную «Энциклопедию римских древностей», я с удивлением прочел, что в Риме (в великом Риме!) мальчики тоже по утрам ходили в школу, и их, так же как меня, отводил туда за руку раб, именовавшийся капсарием; юные римляне тоже покупали булочки у какой-нибудь тогдашней тети Марты с Велабра или с Карин и съедали их за завтраком, называвшимся *Ientaculum*. И в тот же миг, дорогой мой, почтенная древность этих обычаев сняла с них тот налет вульгарности, который казался мне столь унижительным! Раньше я ненавидел их за то, что они сближали меня с сыновьями поверенного Силвы, а теперь я стал уважать их за то, что они сближали меня с сыновьями Сципиона. Покупка булочек стала для меня неким обрядом, совершаемым издревле всеми школьниками, и мне тоже было дано совершать его, в знак почетной солидарности с великими тогносцами. Конечно, тогда я не отдавал себе в этом вполне ясного отчета. Но с тех пор я входил в лавку тети Марты с высоко поднятой головой и горделиво думал: «Так поступали и римляне!» В то время я едва дорос до размеров готского меча и был неравнодушен к толстухке, жившей в конце улицы...»

В том же письме, но в другом месте Фрадики пишет: «К истории меня привела жажда единства или, лучше сказать, отвращение ко всяким перерывам, пропускам, белым пятнам и пустым пространствам, о которых ничего не известно. Я путешествовал всюду, где только можно было путешествовать;

я перечитал все книги о сухопутных походах и морских экспедициях, так как не мог примириться с мыслью, что я, житель земли, не знаю земного шара; я испытывал потребность обследовать все его концы и пределы и ощутить неразрывное единение того клочка земли, на котором стоят мои ноги, со всей остальной землей, загибающейся за линию горизонта. И поэтому я неустанно изучаю историю: я должен узнать и понять все о человечестве, к которому принадлежу, и ощутить неразрывную связь моего существа со всеми людьми, жившими до меня. Возможно, ты пожмешь плечами: «Обычное любопытство, и только!» Но, друг мой, не презирай любопытство! Это общечеловеческий импульс широты чрезвычайной, и, как всякий человеческий импульс, охватывает все: от ничтожного до великого. С одной стороны, любопытство подстрекает подслушивать у дверей, с другой стороны — побуждает открыть Америку!»

Познания Фрадики в истории действительно поражали полнотой и детальностью. Один из наших друзей воскликнул как-то с той необидной иронией, которой люди кельтской расы умеют подчеркнуть и уравновесить восхищение: «Ох уж этот Фрадики! Вытаскивая из кармана портсигар, он дает глубокий, кристально ясный синтез Пелопоннесской войны; а раскуривая сигару, описывает фасон пряжки на поясе Леонида и объясняет, из какого металла она была сделана!» В самом деле, способность к философскому осмыслению социальных перемен, затрагивающих огромные массы людей, и в то же время умение психологически достоверно воссоздавать индивидуальные характеры соединялись у Фрадики с точным до мелочей археологическим знанием жизни, быта, одежды, оружия, празднеств, обрядов всех времен и народов, начиная с ведической Индии и кончая императорской Францией. Его письма к Оливейре Мартинсу (о себастианизме, о нашей Восточной империи, о маркизе Помбале)<sup>1</sup> воистину поражают интуитивным проникновением, силой синтеза, точностью сведений, новизной освещения. И надо сказать, его эрудиция в археологических вопросах не раз помогала и многое разъясняла кропотливому восстановителю нравов и обычаев классической древности, старику Суме-Рабеме, в его трудах живописца и ученого. Об этом говорил мне

---

<sup>1</sup> Эти письма представляют собой настоящие исторические исследования и по своим размерам не могли войти в настоящий сборник. Когда они будут объединены с другими разрозненными заметками и отрывками, то составят книгу, которую редактор, думается мне, мог бы озаглавить: «Стихи и проза К. Фрадики Мендеса». (Прим. автора.)

сам Сума-Рабема, поливая однажды вечером розы в своем саду в Челси.

Большим подспорьем служила Карлосу Фрадике его феноменальная память, которая все схватывала и все сохраняла. Она была поистине просторной и светлой кладовой, где хранились сведения, формы, факты — все это в полном порядке и полной боевой готовности. Наш общий друг Шамбрэ утверждал, что в смысле устройства, порядка и превосходного качества товаров с памятью Фрадике может сравниться лишь погреб Английского кафе.

Фрадике пополнял свое образование в путешествиях; путешествовал он беспрестанно, побуждаемый либо новым увлечением, либо неутолимой любознательностью. Интерес к одной лишь археологии четыре раза приводил его на Восток. Впрочем, по словам консула Ракколини, причиной его последнего полуторогового пребывания в Иерусалиме был роман с одной из самых прелестных женщин Сирии, дочерью Авраама Коппо, богатейшего банкира из Алеппо; впоследствии она трагически погибла у берегов Кипра при кораблекрушении «Магнолии». Его полная приключений и опасностей экспедиция по Китаю, от Тибета (где он едва не лишился жизни за смелую попытку проникнуть в священную Лхасу) до Верхней Маньчжурии, была самой значительной из совершенных европейскими исследователями и дала богатейший материал относительно обычаев, образа правления, нравственных воззрений и литературы этого народа, «самого глубокого из всех народов, — как говорил Фрадики, — сумевшего найти те считанные нравственные принципы, которые по своей незыблемости способны увековечить создавшую их цивилизацию».

Изучая Россию и ее общественные и религиозные движения, Фрадики долгие месяцы колесил по земледельческим губерниям между Днепром и Волгой. Настойчивое желание выяснить правду о сибирских каторжных тюрьмах побудило его пуститься в тяжелый путь по степным дорогам, среди снегов, проехать в простой телеге сотни миль до Нерчинских серебряных рудников. И он продолжал бы свои обследования, если бы, прибыв к морю, в Архангельск, не получил вдруг следующего рескрипта от генерала Арманкова, шефа Четвертого отделения императорской полиции:

«Monsieur, vous nous observez de trop près pour que votre jugement n'en soit faussé; je vous invite donc, sur votre intérêt, et pour avoir de la Russie une vue d'ensemble plus exacte, d'aller

la regarder de plus loin, dans votre belle maison de Paris!»<sup>1</sup>

Фрадики поспешил уехать в Вазу, на Ботническом заливе. Оттуда он переправился в Швецию и написал следующее письмо без даты генералу Арманкову:

«Monsieur, j'ai reçu votre invitation où il y a beaucoup d'into-  
lérance et trois fautes de français»<sup>2</sup>.

Та же потребность все знать и «выяснить правду» погнала его в Южную Америку, которую он изъездил от Амазонки до песков Патагонии; затем в Южную Африку, которую он видел всю — от Мыса Доброй Надежды до гор Зокунга... «Я перелистывал и внимательно читал мир, как книгу, полную мыслей. Ради простого зрительного удовольствия я ездил только однажды, в Марокко».

Путешествия превращались для Фрадики в плодотворный урок благодаря способности симпатизировать людям всех рас и национальностей. Меньше всего он был похож на противного французского туриста, который едет в чужую страну, чтобы с глупым высокомерием отмечать «недостатки», то есть отличия от того бесцветного и стандартного типа цивилизации, который он знает и считает единственно приемлемым. Фрадики умел с первого же дня проникнуться представлениями, пред-  
рассудками, привычками окружавших его людей; он умел сродниться с ними в их образе мыслей и их чувствованиях и воспринимал живой, непосредственный урок от всякого человеческого общества, в чьи недра проникал. Мудрый принцип: «В Риме будь римлянином» — он сделал для себя правилом и придерживался его не только в Риме, среди виноградарей Целиева холма, у журчащих вод Павлинского источника, где соблюдать его легко и приятно, но и на козьих тропах Гималайских ущелий, по которым ему довелось карабкаться в рваных сандалиях. Он был своим и в философической немецкой пивной, уточняя понятия абсолюта в обществе тюбингенских профессоров, и на африканской стоянке среди матабелей, где в кругу охотников за слонами сравнивал карабин «экспресс» с карабином «винчестер».

---

<sup>1</sup> Милостивый государь, вы наблюдаете нас со слишком близкого расстояния, и суждения ваши не могут не оказаться ошибочными; по-  
этому приглашаю вас, в ваших же интересах, если вы желаете получить  
более верное общее представление о России, отправиться изучать ее из-  
дали, из вашего прекрасного дома в Париже! (франц.)

<sup>2</sup> Милостивый государь, я получил ваше приглашение, в котором  
обнаружил много нетерпимости и три ошибки во французском языке  
(франц.).

После 1880 года размах его путешествий мало-помалу сократился; теперь он ограничивался поездками из Парижа в Лондон и обратно, если не считать «сыновних визитов» в Португалию: хотя Фрадики изъездил весь свет, легко приспосабливался к чужим обычаям и никогда не изменял научной активности, он оставался португальцем до мозга костей, со всеми неизгладимыми чертами фидалго с Азорских островов.

Португалия, ее люди и ее интересы всегда были главной, самой задушевной заботой Фрадики. Он купил виллу «Сарагоса» в Синтре только для того, чтобы (как он пишет с неприличным для него волнением в письме к Ф. Г.) «иметь свой клочок земли в Португалии, связать себя узами собственности с благородной почвой, откуда предки, искатели новых миров, отправлялись в дальние плавания, увлекаемые мечтой о великом. В моих жилах течет та же кровь, от них я унаследовал жажду узнать, что находится там!»

Приезжая в Португалию, он первым делом «возобновлял правильный душевный настрой», объезжая верхом какую-нибудь провинцию, останавливаясь в старых, заброшенных селениях, которые находил очаровательными. Он любил долгие беседы у деревенских очагов, шумные толпы на площадях и в харчевнях, веселые паломничества в запряженной волами телеге — древней, почтенной сабинской телеге, — под ситцевым навесом, убранным лавровыми ветвями. Больше всего ему нравилось Рибатэжо, земля пастбищ и вольных стад. «Там, — говорил он, — скача верхом на жеребце, в куртке с широким поясом и с пастушьим посохом в руке, по лугам, где пасутся стада, я вдыхаю свежий и чистый утренний воздух и чувствую радость жизни, как нигде и никогда».

Лиссабон же был для него не более чем живописным пейзажем. «Если бы подправить Лиссабон в трех пунктах, — писал он мне в 1881 году из отеля «Браганса», — а именно: посадить рощицы пиний на голых пригорках Оутра-Банда, покрыть грязные фасады домов блестящими и веселыми изразцами и хорошенько подмести эти богоспасаемые улицы, — Лиссабон стал бы одним из тех чудес природы, созданных рукой человека, о которых грезят, которые рисуют и куда паломничают. Но постоянно жить в Лиссабоне... Эта мысль для меня нестерпима. Здесь нет интеллектуальной жизни, а без нее душе моей нечем дышать. И, кроме того, Лиссабон отличается несколькими отвратительными чертами, от которых никуда не денешься. Это город околотитературный, хамоватый, фатоватый и отдающий статским советником. Литературничанье заметно даже в манере

приказчика отпускать аршин тесьмы; любезная хозяйка дома принимает вас с каким-то хамоватым шиком; на самом искусстве лежит печать статского советника; и даже в кладбищах есть нечто фатоватое. Но противнее всего, друг мой, — политиканы и политиканство».

К политикам Фрадики питал непреодолимое, необъяснимое отвращение. Они были противны ему с умственной стороны, так как он считал их всех невеждами и тупицами, не способными не только родить, но и воспринять какую-либо мысль. Они были противны ему со светской стороны, так как он наперед считал их неблаговоспитанными пошляками, негодными для общения с культурными людьми. Они были противны ему физически, ибо, по его твердому убеждению, политические деятели никогда не моются, редко меняют носки, и именно от них исходит тот тяжелый, затхлый запах, который поражает всякого, кто не привык бывать в Сан-Бенто.

В этих безжалостных обвинениях, конечно, была доля истины. Но, в общем и целом, мнения Фрадики о политиках носили скорее характер предубеждения, нежели справедливой оценки. Однажды, сидя в его номере в отеле «Браганса», я попытался переубедить его, доказывая, что все эти духовные и культурные недочеты: отсутствие хороших манер, вкуса и утонченности, столь ядовито порицаемые им в наших парламентских деятелях, объясняются быстрой демократизацией общества, вульгарностью провинциальной жизни, пагубным влиянием университета и, возможно, некоторыми более глубокими причинами, снимающими вину с этих несчастных парламентариев, которых мстительный рок сделал орудием гибели нашего отечества.

Фрадики ответил просто:

— Еслидохлая крыса скажет мне: «Я дурно пахну по такой-то и такой-то причине, а главное потому, что разлагаюсь», — я все равно прикажу вынести ее вон из моей комнаты.

То было отвращение инстинктивное, физиологическое, непримиримое и упорное; факты и доводы были бессильны побороть его. Гораздо более справедливой казалось мне его вражда к господствовавшему в Лиссабоне неумному и неуклюжему подражанию всему парижскому. Эти «мартышкины претензии», так беспощадно высмеянные им в 1885 году в письме на мое имя, — где он определяет Лиссабон как «город, переведенный с французского на провинциальный», — преследовали Фрадику Мендеса как кошмар, едва лишь он выходил на улицу из вокзала Санта-Аполлония. И с этого же момента он начинал упорно искать под французскими наносами остатки настоящей Португалии.

Даже наша современная кухня приводила его в отчаяние. Он постоянно жалуется в письмах и разговорах на невозможность получить настоящую португальскую еду. «Где,— восклицает он, — почтенные кушанья португальской Португалии: макаронный пудинг XVIII века, тяжелые, но божественные битки времен великих открытий или излюбленное лакомство дона Жоана IV, восхитительные цыплячи потроха, весть о которых привезли в Лондон английские лорды, ездившие в Португалию за невестой для Карла II? Все это пропало! Одна и та же тупая безвкусица перелагает с французского на провинциальный и комедии Лабиша, и блюда от Гуффре. Мы самым презренным образом подбираем демократические обеды парижских бульваров и глотаем их, слегка разогрев и приправив галантином из провинциальных острот. Поразительное несчастье! Самые чудесные кушанья Португалии — свиной окорок, лафонская телятина, овощи, сласти, вина — все выродилось, все обезвкусилось... С каких пор? По свидетельству стариков, это вырождение наступило вскоре после того, как у нас завелся конституционализм и парламентаризм. Когда старому лузитанскому стволу сделали эту вредную прививку, плоды его потеряли свой вкус, а люди — свое национальное лицо...»

Только один раз я видел, что он вполне удовлетворен едой — этой немаловажной статьей в нашей жизни. Это было в одной таверне в Моурарии, куда привел его я сам; ему подали миску со сложным блюдом из трески, перца и гороха. Чтобы насладиться им сполна, Фрадики даже снял сюртук. Кто-то из нас упомянул в разговоре имя Ренана, но Фрадики решительно запротестовал:

— Нет, нет, не надо никаких идей! Дайте мне насладиться этой треской в полной умственной дремоте, как ели во времена дона Жоана Пятого, когда еще не было демократии и критики!

Тоска по старой Португалии никогда не покидала его; он считал, что мир стал беднее, утратив столь своеобразную цивилизацию. Его любовь к прошлому, — странное дело! — с особенной силой оживала, когда ему доводилось видеть в Лиссабоне ту же современную роскошь, тот же интеллектуальный «модернизм», какой существует в наиболее культурных европейских странах. В последний раз я встретил его в Лиссабоне на одном званом вечере на Рато, устроенном с редким блеском и тонченностью. Фрадики, казалось, был в полном унынии:

— Герцогиня де ла Рошфуко-Бизачча может устроить в Париже точно такой же прием; стоило ли ради этого вытер-



петь карантин в Марване?! Представь, как было бы чудесно, если бы я попал здесь на праздник времен королевы доны Марии Первой, в доме Мариалва! Дамы сидели бы на циновках, монахи играли бы на мандолине негритянские танцы, королевские судьи импровизировали бы глоссы на заданную тему, а челядь во дворе, среди толпы нищих, пела бы хором литанию!.. Это было бы неповторимо, восхитительно, ради этого стоило бы совершить в портшезе путешествие из Парижа в Лиссабон!

Однажды мы обедали у Карлоса Майера; Фрадики с непристойной меланхолией оплакивал старую Португалию, Португалию монахов и фидалго времен дона Жоана VI; Рамальо Ортиган не выдержал:

— Фрадики, ты чудовище! Сам живешь в комфортабельном Париже середины девятнадцатого века и в то же время желаешь иметь возможность в любой момент, через два дня пути, очутиться в Португалии восемнадцатого века и здесь, как в музее, наслаждаться живописной стариной... Ты будешь блаженствовать на улице Варенн, на лоне приличия и порядка, а мы здесь должны ютиться в смрадных переулках, куда по вечерам выливают помои, терпеть дикое озорство какого-нибудь маркиза Каскайс или графа Авейро, отправляться под тумачи фискалов в долговую яму... Сознайся, ведь ты именно этого хочешь!

И Фрадики безмятежно отвечивал:

— Куда достойней и патриотичней было бы для вас, людей науки, не сидеть тут в ошейниках галстуков и понятий, какими пользуется вся Европа, а носить парики с косичками и хранить в карманах поношенных шелковых камзолов сапфические оды; лучше бы вы ежились от спасительного страха перед королем и чертом, лучше бы слонялись во дворе у герцога Мариалва или графа Авейро, в ожидании часа, когда, прочтя послеобеденную молитву, господи пришлют вам с негритенком остаток индюшки со своего стола и тему для нового стихотворения. По крайней мере, это было бы по-португальски, было бы вам дано от природы; ничего лучшего вы и не заслуживаете. А чего стоит жизнь, если нельзя сдобрить сытный завтрак хоть глотком чего-нибудь живописного!

Думаю, эта тоска Фрадики по старой Португалии и была, собственно, жадой «живописного» — черта неожиданная в натуре столь своеобразно интеллектуальной. Но главная причина такого настроения коренилась в ненависти к нынешней всеобщей модернизации, которая сводит все обычаи, верования,

представления, вкусы, характеры — даже самые самобытные и почвенные — к единообразному типу деловитого господина в черном сюртуке. Эта нивелировка напоминает работу китайца-садовника, который подрезает все деревья в саду по одному и тому же шаблону, освященному обычаем: в форме пирамиды или погребальной урны.

Поэтому Фрадики больше всего любил в Португалии народ — народ, который не меняется, как не меняется природа, на лоне которой он живет и у которой черпает серьезность и терпение. Фрадики любил народ за его достоинства и за его недостатки; за идиллическую радость жизни, озаряющую труд поэзией; за спокойное приятие вассальной верности — если не королю, то правительству; за языческий католицизм, преданную любовь к языческим богам в образе угодников из святцев; за его одежду, за его песни... «Я люблю народ, — говорил он, — за кротость и физиологическую готовность мириться со всем; за грубый, бедный язык, ибо это единственная разновидность португальской речи, куда не проникли тошнотворные ламартиновские красоты и не чувствуется слог замусоленных конспектов по римскому праву...»

## VI

Наш разговор на площади Рато, когда Фрадики с тоской вспоминал о благочестивых и жеманных празднествах XVIII века, относится к его последнему приезду в Лиссабон.

Автору «Лapidарий» было в то время пятьдесят лет, и с каждым днем он все больше привыкал к приятной размеренности своей парижской жизни.

С 1880 года Фрадики занимал на улице Варенн флигель старинного особняка герцогов Треденн. Жилище свое он обставил с благородной и строгой роскошью. Ему всегда претило бессмысленное нагромождение разнородных вещей и тканей, несовместимых по стилю и веку, которое носит вполне подходящее варварское название «брик-а-брак» и обладает недолимой притягательной силой для биржевых дельцов и кокоток. Благородные драгоценные гобелены с пейзажами или историческими сценами; широкие обюссонские диваны; несколько отличных образцов мебели эпохи французского ренессанса; редчайшие изделия из голландского и китайского фарфора; много простора, много света, гармоничное сочетание спокойных тонов — вот что вы находили в пяти комнатах, составлявших «берлогу» Фрадики. Все балконы, с узорными железными

решетками времен Людовика XIV, выходили в заросший старыми деревьями садик — один из тех уголков, которые так украшают этот клерикально-аристократический квартал, образуя приюты тишины и уединения, где порой майскими вечерами решается запеть соловей.

Распорядок жизни Фрадики регулировали старинные часы, медленному и строгому бою которых предшествовали себрыстые звуки старинного придворного танца; а за неизменностью установленного порядка следил камердинер Смит — шотландец из клана Мак-Дуффов, старик с уже седой головой и еще румяным лицом. Он прослужил у Фрадики тридцать лет, со строгим усердием заботясь о своем господине во всех его странствиях и всех перипетиях жизненного пути.

Утром, ровно в девять часов, с первыми тактами очаровательно меланхоличного менюэта Чимарозы или Гайдна, Смит с шумом входил в спальню Фрадики, распахивал окна и восклицал: «Morning, Sir!»<sup>1</sup> Фрадики тотчас же соскакивал с постели (он считал это весьма гигиеничным) и бежал к обширному мраморному умывальнику, чтобы облить голову и умыться холодной водой, причем наслаждался этой операцией, как счастливый тритон. Затем, накинув один из своих китайских халатов, приводивших меня в восхищение, он располагался в кресле и отдавал себя в руки Смита. В роли брадобрея старик, по словам Фрадики, соединял в себе проворство Фигаро с глубокомыслием Оливье, цирюльника и советчика Людовика XI. И действительно, намазывая и брея щеки своего хозяина, Смит успевал дать ему ясную, достоверную и сжатую информацию о политических событиях по «Таймсу», «Стандарту» и Кельнской газете».

Я не мог наглядеться на Смита, когда он в коротком фраке с белым галстуком а-ля Пальмерстон, в клетчатых, черных с зеленым, штанах (это были цвета его клана), в лакированных ботинках с вырезом, водил намавленной кисточкой по подбородку своего господина и тихо докладывал, с достоинством и знанием дела: «Совещание князя Бисмарка с графом Кальноки не состоится... Консерваторы потерпели поражение на дополнительных выборах в Йорке... Вчера в Вене поговаривали о новом русском займе...» Лиссабонские приятели посмеивались над этим «балаганом», но Фрадики утверждал, что рассматривает этот обычай как полезный возврат к классической традиции, ибо во всем латинском мире со времен Сципиона

---

<sup>1</sup> С добрым утром, сэръ! (англ.)

Африканского за бородбреями была закреплена роль вестников и общественных уведомителей. Эти короткие доклады Смита составляли для Фрадики основу ежедневной сводки политических новостей, и он никогда не говорил: «Я прочел в «Таймсе», а «Я прочел в Смите».

Чисто выбритый, хорошо информированный, Фрадики погружался в теплую ванну, выйдя из которой вновь попадал в надежные объятия Смита; набором перчаток из шерсти, фланели, волоса, пакли и тигровой кожи Смит натирал его тело, пока оно не становилось «розовым и блестящим», как у Аполлона. После этого Фрадики пил шоколад; затем удалялся в библиотеку, простую рабочую комнату, где помещался большой стол черного дерева, а рядом — статуя Истины. Ослепительно-белая в своей мраморной наготе, она стояла, приложив тонкий палец к губам — символ интимной работы мысли в поисках знания, которая требует тишины и не терпит мирской суеты.

В час дня он завтракал с воздержностью эллина — яйцо, овощи, — затем, растянувшись на диване, принимался за русский чай, просматривая в газетах и журналах литературную, театральную и светскую хронику, которая не входила в чисто политическую компетенцию Смита. Он внимательно читал и португальские газеты (которые называл «презабавным продуктом общественного разложения»), ибо они имеют свой характерный стиль и чрезвычайно любопытны для всякого, кто, подобно Фрадики, интересуется посредственностью в ее натуральных проявлениях. Он считал, что Калино столь же достоин изучения, как Вольтер. Остальную часть дня Фрадики посвящал друзьям, визитам, мастерским художников, фехтовальным залам, выставкам, клубам — словом, всем тем разнообразным занятиям, которые создает себе человек хорошего вкуса, живущий в высокоцивилизованном городе.

Под вечер он отправлялся в Булонский лес в фаэтоне, которым сам правил, или верхом на «Царице Савской», великолепной кобыле из табунов Айн-Вейба, уступленной ему моссульским эмиром. Вечер, если у него не было в этот день ложи в Опере или во Французской Комедии, он проводил в салоне какой-нибудь дамы, ибо испытывал потребность закончить день среди «женственной эфемерности» (его выражение).

Эта «женственная эфемерность» играла величайшую роль в его жизни. Фрадики любил женщин; но, кроме них и выше всего на свете, он любил Женщину.

Его отношение к женщинам определялось тремя моментами: благоговейным преклонением возвышенной души, любо-

пытством естествоиспытателя и темпераментом сангвиника. Вслед за романтиками эпохи Реставрации, Фрадики считал женщин существами высшего порядка, божественно сложными созданиями природы, ни с чем в мире не сравнимыми и достойными глубочайшего поклонения; но, не отрекаясь от этого культа, он в то же время рассекал и исследовал эти существа высшего порядка без всякого благоговения, клетку за клеткой, с увлечением естествоиспытателя; и очень часто на месте благоговеющего жреца и любознательного ученого оказывался просто мужчина, который, следуя благостному велению природы, любил женщину, как фавны любили нимф.

Кроме того, — так, по крайней мере, следовало из его разговоров, — он подразделял женщин на различные виды. Существует женщина «внешней жизни», цветок, взращенный для роскоши и светского блеска; и существует женщина «внутренней жизни», хранительница домашнего очага; как бы ни была такая женщина привлекательна, Фрадики неизменно сохранял с ней тон глубокого почтения, не допускавшего никаких исследовательских экспериментов. «Я смотрю на них, — пишет он госпоже де Жуар, — как на чужое письмо, которое запечатано сургучом». Но по отношению к женщинам, живущим «внешнею», светской жизнью, полной суетности и фантазии, Фрадики считал себя столь же несвязанным и безответственным, как перед изданной типографским способом книгой. «Перелистывать книгу, — пишет он той же госпоже де Жуар, — делать пометки на ее атласистых полях, обсуждать ее вслух, не стесняя себя выбором выражений, увозить к себе и читать вечером дома, рекомендовать друзьям, бросить в угол, когда прочитаны лучшие ее страницы, — все это, думается мне, вполне позволительно и не противоречит ни обычной морали, ни уголовному кодексу».

Может быть, все эти утонченности — не что иное, как попытка дать философское обоснование своему распутству и облагородить извозчий темперамент, чтобы придать ему нечто литературное и интересное (как ехидничал один из моих приятелей)? Не знаю. Самым наглядным комментарием к теориям Фрадики было его поведение в гостиной, среди «женственной эфемерности». Когда очень чувственная женщина слушает мужчину, который волнует ее, губы у нее бессознательно приоткрываются. У Фрадики в подобные минуты расширялись глаза. Глаза у него были небольшие, табачного цвета; но в присутствии одной из этих «внешних женщин», блистающих в гостиной, они становились огромными, бархатистыми, напол-

нялись черным блеском, наливались влагой. Старая леди Монгрев сравнивала эти глаза с «разверстым зевом двух змей». И действительно, было в них что-то заманивающее, заглывающее; но взгляд его прежде всего свидетельствовал о волнении и восторге. В этой полной самоотдаче, какая бывает лишь у верующего перед образом Девы, в мягком звучании голоса, ласкающего и жаркого, как воздух теплицы, во влажном блеске его выразительных глаз женщины видели всемогущее действие своей прелести и красоты на мужчину, в высшей степени одаренного мужскими качествами. А ведь нет более опасного соблазнителя, чем тот, кто умеет дать понять женщине, что она неотразима и может покорить самое неподатливое сердце одним грациозным движением плеч или тихим вздохом: «Какой очаровательный вечер!» Кто делает вид, что его легко обольстить, сам легко обольщает других. Это повторение мудрой и правдивой индийской легенды о заколдованном зеркале, в котором старая Махарина видела себя ослепительно красивой. Каких грехов, каких предательств не совершит Махарина, чтобы завладеть этим зеркалом, в котором ее морщинистая кожа кажется такой гладкой и свежей?

И поэтому я думаю, что Фрадики был любим глубоко и сильно, и он заслуживал этого в полной мере. Женщины находили в нем Мужчину. Он обладал неоценимым в женских глазах преимуществом, почти не встречающимся среди людей нашего поколения: тонкой душой, которая пользовалась услугами сильного тела.

Но если любовные связи Фрадики бывали долгими и глубокими, то еще прочней и неразрывней была его дружба со многими интересными людьми, которых привлекали его редкие нравственные достоинства.

Когда я познакомился с Фрадики Мендесом в Лиссабоне, — в баснословном 1867 году, — мне показалось, что его характер, как и стихи, выкован из блестящего, холодного металла. При всем моем восхищении его талантом, его личностью, его жизненной силой, его шелковыми халатами, я как-то признался Тейшейре де Азеведо, что не чувствую в авторе «Лапидарий» того *теплого млека человеческой доброты*, без которого, по мнению старика Шекспира (и я полностью разделяю это мнение), человек не может быть достоин звания человека. Даже его вежливость, такая безусловно приветливая, казалась мне скорее правилом поведения, нежели природным качеством. Может

быть, такому представлению о нем способствовало одно показанное мне кем-то письмо Фрадики, правда уже давнее, от 1855 года, где он, со всем легкомысленным высокомерием молодости, излагает следующую жесткую программу: «Мужчины рождены, чтобы работать, женщины — чтобы плакать, а мы, сильные, — чтобы бесстрастно проходить мимо!»

Но в 1880 году, когда мы скрепили навеки нашу дружбу за ужином у Биньона, Фрадики было уже пятьдесят лет; потому ли, что теперь я внимательней на него смотрел и лучше понимал, или потому, что с возрастом в нем совершилось то явление, которое Фюстан де Карманж называл «le dégel de Fradique»<sup>1</sup>, я сразу ощутил, что сквозь мраморную невозмутимость «млеко человеческой доброты» бьет обильным и горячим ключом.

Прежде всего я не мог не обратить внимания на его безупречное и беспредельное снисхождение к чужим слабостям. Следуя ли своей философии или повинаясь голосу сердца, Фрадики склонялся к древнему евангельскому милосердию; перед лицом греха или преступления он сознавал неустойчивость человеческой природы и по-евангельски вопрошал себя, настолько ли он сам безгрешен, чтобы бросить камень. В основе всякого прегрешения, — может быть, вопреки разуму, но в согласии с тем еще не умолкшим голосом, которому внимал святой Франциск Ассизский, — он видел неизбывную слабость человека; и из глубины его сострадания поднималась готовность простить, жившая в тайниках его души, как в благодатной почве таится источник чистой воды, всегда готовой хлынуть наружу.

Но пассивным состраданием не исчерпывалась его доброта. Всякое несчастье, — от отдельной беды, случившейся на улице, видимой глазу, до бедствий, какие порой с силой стихии обрушиваются на целые общества и расы, — находило у него действительную и ревностную помощь. В письме к Г. Ф., написанном уже в последние годы жизни, он сказал следующие благородные слова: «Все мы, живущие в этом мире, образуем нескончаемый караван, медленно ползущий к Небытию. Нас окружает ничего не сознающая, ничего не чувствующая и, подобно нам, смертная природа. Она нас не понимает, она нас даже не видит; от нее мы не можем ждать ни помощи, ни утешения. И в увлекующем нас потоке нам нечем руководствоваться, кроме древнего правила, в котором заключен великий итог всего

---

<sup>1</sup> Оттаивание Фрадики (франц.).

человеческого опыта: «Помогайте друг другу!» Пусть в этом полном треволнений пути, где скрещиваются шаги несчетных путников, каждый отдаст половину своего хлеба тому, кто голоден, предложит половину своего плаща тому, кто озяб, протянет руку тому, кто споткнулся, оградит тело павшего; а если кто-нибудь хорошо снаряжен в дорогу, крепок телом и ни в чем не нуждается, кроме душевного тепла, пусть души раскроются для него и согреют своим теплом. Ибо только так мы придадим хоть сколько-нибудь красоты и достоинства нашему непонятному бегу навстречу смерти...»

Конечно, Фрадики Мендес отнюдь не был святым подвижником, разыскивающим в темных закоулках неискупленные страдания: но ни разу не случилось, чтобы он не пришел на помощь, узнав, что кто-то в беде. Когда в газетах ему попадалось сообщение о людях, перенесших несчастье или впавших в нужду, он делал карандашом пометку для старого Смита и рядом ставил цифру — число фунтов, которые тот должен был вручить без шума и без огласки. Его правило по отношению к беднякам (о которых экономисты говорят, будто им нужна справедливость, а не милосердие) гласило: «В обеденный час лучше медяк в руки, чем две философские системы в небе». Дети, особенно обездоленные, внушали ему безграничную нежность и жалость; он принадлежал к числу тех редких людей, которые, встретив на улице в холодный зимний день окоченевшего малютку-нищего, останавливаются на самом ветру, невзирая на дождь, терпеливо расстегивают пальто и терпеливо стягивают перчатку, чтобы нащупать в кармане серебряную монету, которая даст ребенку хлеб и тепло, хотя бы на один день.

Его милосердие совершенно по-буддийски распространялось на все живое. Я не знавал человека, который так уважал бы животных и их права. Однажды в Париже мы бежали под внезапно хлынувшим ливнем к стоянке фиакров, чтобы поспеть на аукцион гобеленов (где Фрадики облюбовал «Девять муз, пляшущих в лавровой роще»); на стоянке оказалась только одна пролетка: впряженная в нее кляча меланхолично жевала овес в подвешенном к морде мешке. Фрадики настоял на том, чтобы лошадь спокойно позавтракала, и «Девять муз» были упущены.

В последние годы жизни его больше всего угнетала незащищенность целых классов нашего общества; он сознавал, что в промышленных демократиях, с их корыстными устремлениями и беспощадной борьбой каждого за личную выгоду, души



становятся все черствее и равнодушнее к ближнему. «Братство, — говорил он в сохранившемся у меня письме от 1886 года, — постепенно исчезает; ему нет места в этих громадных ульях из камня и известки, где люди скучиваются для ожесточенной борьбы; мы забываем обычаи простой деревенской жизни, и мир идет к аду дикого эгоизма. Первое свидетельство этого — шумиха вокруг филантропии. Если милосердие принимает форму общественного учреждения, с регламентом, докладами, комитетами, заседаниями, председателем и колокольчиком, и из естественного чувства превращается в казенное установление, — это значит, что человек, не надеясь больше на голос своего сердца, принуждает себя к добру, а контроль над добротой передоверяет официальной организации с четкими пунктами устава. Если сердца так окаменели, а зимы так суровы, что будет с бедняками?»

Сколько раз, сидя в ноябрьские сумерки в его библиотеке, едва освещенной красноватым отблеском огня в камине, я видел, как Фрадики, печально задумавшись, долго молчал, погруженный в созерцание каких-то безрадостных горизонтов, а потом, прервав молчание, оплакивал грядущие горести людей — возвышенно и трогательно. И вновь с горечью повторял свою любимую мысль о том, что люди с каждым днем все глубже погружаются в свирепый эгоизм, вынуждаемые жестокостью борьбы и соперничества, и с каждым днем все больше уподобляются волкам, *homo homini lupus*<sup>1</sup>.

— Пора прийти новому Христу! — пробормотал я однажды.

Фрадики пожал плечами.

— Он придет; он, может быть, освободит рабов; за это ему воздвигнут церковь и создадут литургию; а затем от него отрекутся; а еще позже его забудут; и, наконец, появятся новые толпы рабов. Ничего не поделаешь. Каждому из нас остается одно: набрать побольше денег и запастись револьвером; и когда ближний постучится к нам в дверь, мы, смотря по обстоятельствам, либо подадим ему кусок хлеба, либо пустим в него пулю.

Так, исполненные мыслей, приятных занятий и добрых дел протекали последние годы жизни Фрадики Мендеса в Париже, пока, наконец, зимой 1888 года его не скосила смерть —

---

<sup>1</sup> Человек человеку волк (*лат.*).

такая, какую он, вслед за Цезарем, всегда желал себе: *inopinatum atque gerentinam*<sup>1</sup>.

Однажды вечером, при разезде от графини де ла Фертэ (старой приятельницы Фрадики, с которой он на яхте совершил поездку в Исландию), он обнаружил в прихожей, что кто-то обменял его русскую шубу на другую, тоже роскошную и удобную; в кармане был бумажник с монограммой и визитными карточками генерала Террана д'Ази. Фрадики, страдавший болезненной брезгливостью, не захотел надевать пальто этого ворчливого и вечно простуженного воина, и пешком прошел через площадь Согласия от дома графини до клуба на Рю-Руйаль. Была сухая и ясная ночь, дул ветер, легкий, как дыхание, почти незаметный, — но это был один из тех острых бризов, которые на протяжении многих миль оттачиваются над снежными равнинами севера и которые старик Андре Вазали сравнивал с «предательским кинжалом». На следующий день Фрадики проснулся с небольшим кашлем. Пренебрегая осторожностью, уверенный в своем здоровье, которое не подводило его в самых немилостивых климатах, он отправился с друзьями в Фонтенебло на империале *mail-coach*<sup>2</sup>. Вечером, вернувшись домой, он почувствовал сильный озноб; и тридцать часов спустя, безболезненно и тихо, так что некоторое время Смит думал: «Он спит», Фрадики, по выражению древних, «кончил жить». Ясный летний день не умирает более светло.

Доктор Лаберт определил его болезнь как редчайший случай плеврита. И он добавил, хорошо понимая, что такое человеческое счастье: «*Toujours de la chance, ce Fradique!*»<sup>3</sup>

В последний путь по улицам Парижа, под серыми снеговыми тучами, его провожали несколько самых славных людей французской науки и искусства. В толпе можно было видеть два-три красивых лица, уже немного поблекших с годами; не одно сердце оплакивало его, вспоминая пережитые волнения. И бедняки, сидевшие в тот вечер в убогих жилищах вокруг нерастопленных очагов, тоже, надо думать, пожалели об этом скептике и ученом, который, кутаясь в шелковый халат, страдал человеческим горестям.

Он покоится на кладбище Пер-Лашез, недалеко от могилы Бальзака, на которую в поминальный день всегда посылал бу-

---

<sup>1</sup> Неожиданную и внезапную (лат.).

<sup>2</sup> Дилижанс, конка (англ.).

<sup>3</sup> Этому Фрадики во всем везет! (франц.)

кет пармских фиалок, столь любимых при жизни автором «Человеческой комедии». А теперь, в свою очередь, преданные руки украшают розами скромный мрамор, покрывающий земные останки Карлоса Фрадики Мендеса.

## VII

Ученый моралист, который подписывает псевдонимом «Альцест» свои статьи в «Парижской газете», посвятил Фрадику Мендесу заметку, где следующим образом определяет его ум и деятельность: «Поистине самостоятельный и сильный мыслитель, Фрадику Мендес не оставил после себя творческого наследия. По безразличию или по лени, но этот человек расточил громадное умственное богатство. От глыбы золота, из которой он мог бы высечь бессмертный памятник, он в течение долгих лет откалывал мелкие осколки и рассыпал их щедрой рукой, беседуя в парижских гостинных и клубах. Эта золотая пыль ныне смешалась с пылью улиц. И над могилой Фрадики, как над могилой неизвестного эллина, воспетого в Антологии, можно было бы написать: «Здесь покоится шум ветра, который промчался, бесплодно рассеивая благоухание, тепло и семена»...»

Заметка эта носит на себе печать присущего французам легкомыслия и верхоглядства. Прежде всего, весьма непродуманны термины: «лень», «безразличие», — которые довольно часто повторяются на этой тщательно отделанной и красноречивой странице, словно именно они призваны запечатлеть в нашей памяти характер покойного. Но Фрадику был, напротив, человеком страстей, человеком действия и упорного труда. Едва ли можно обвинить в лени, в безразличии того, кто проделал две военные кампании, проповедовал новую религию, объездил все пять материков, изучил столько цивилизаций и приобрелся ко всем познаниям своего века.

Но хроникер из «Парижской газеты» вполне прав, когда говорит, что этот неутомимый труженик не оставил нам ни одного произведения. Действительно, напечатаны, насколько нам известно, только его «Лапидарии» в «Сентябрьской революции» да любопытная маленькая поэма на вульгарной латыни, «*Laus Veneris tenebrosae*», появившаяся в «Журнале поэзии и искусства», основанном в конце 1869 года группой парижских поэтов-символистов. Однако Фрадику оставил значительное рукописное наследство. Я не раз видел исписанные его рукой стопки бумаг в квартире на улице Варенн; они храни-

лись в испанском сундуке из кованого железа работы XIV века, который Фрадики называл «братской могилой». Все эти бумаги и право распоряжаться ими были завещаны Фрадики Мендесом той самой Любуше, о которой он много говорит в своих письмах к госпоже де Жуар и которая встает перед нами, как живая, «в белых бархатных одеяниях венецианки, со своими большими глазами Юноны».

Эта дама, по имени Варя Лобринская, принадлежала к старинному русскому роду князей Палидовых. В 1874 году ее муж, Павел Лобринский, молчаливый, ничем не выдающийся дипломат и бывший офицер императорской лейб-гвардии, писавший «*saritaine*» через *é* (*sariténe*), скончался в Париже, еще совсем молодым, от давнего малокровия. Сразу после этого госпожа Лобринская, с соблюдением всех траурных церемоний, окутанная черным крепом и в сопровождении свиты горничных, вернулась в свои обширные поместья близ Старобельска, в Харьковской губернии. Но весной, когда распустились цветы на каштанах, она уже снова была в Париже и осталась здесь, ведя жизнь богатой и беспечной вдовы. Однажды у госпожи де Жуар она встретила с Фрадики Мендесом, который в то время открыл для себя славянские литературы и с увлечением занимался самой древней и самой благородной поэмой славян, «Любушиным судом», случайно найденным в 1818 году в архивах усадьбы Зеленая гора. Госпожа Лобринская состояла в родстве с зеленогорскими господами, графами Коллоредо, и была обладательницей факсимиле обоих пергаментных листов, содержащих старинную варварскую эпопею.

Фрадики и госпожа Лобринская стали вместе изучать это героическое произведение, пока не наступил сладостный миг, когда, подобно дантовским влюбленным, «в тот день они уж больше не читали». Фрадики дал госпоже Лобринской имя Любуши, той народоправительницы, что в поэме является на суд, «одетая в белое и осененная мудростью». Она же называла Фрадики «Люцифером». Автор «Лапидарий» умер в ноябре; несколько дней спустя госпожа Лобринская снова уехала в свои унылые старобельские поместья Харьковской губернии. Ее друзья улыбнулись, снисходительно шепнув, что мадам Лобринская снова бежала оплакивать среди «своих мужиков» вторичное вдовство и, безусловно, вернется, когда зацветет сирень. Но на этот раз Любуша не вернулась даже к тому времени, когда расцвели каштаны.

Муж госпожи Лобринской был дипломатом, который всерьез изучал только меню и котильоны. Вследствие этого его

служба протекала без всякого блеска, на второстепенных должностях. Шесть лет покоился он на посту секретаря посольства среди деревьев Петрополиса, дожидаясь места посланника в Европе, которое, по словам князя Горчакова, в то время министра иностранных дел, принадлежало мадам Лобринской *par droit de beauté et de sagesse*<sup>1</sup>. Но вакансия в Европе, в светской столице и без банановых деревьев, никак не открывалась, чтобы вознаградить их за изгнание, в котором они тосковали по снегу; в этой бразильской глуши госпожа Лобринская успела так хорошо выучиться нашему милому португальскому языку, что Фрадику показывал мне сделанный ею перевод элегии Лавосского «Холм Разлуки» — перевод, выразительный и прекрасный по форме. Несомненно, из всех женщин, которые любили Фрадику Мендеса, она одна могла понять ценность его рукописей и воспринимать их как нечто живое; для других они были бы безжизненными листами бумаги, испещренной непонятными строчками.

Начав собирать разбросанные письма Фрадику Мендеса, я сообщил госпоже Лобринской о своем намерении запечатлеть в дружеском очерке особенности этого недюжинного ума и умолял сделать для меня извлечения из его рукописей или, по крайней мере, рассказать что-либо новое о его личности. Ответ госпоже Лобринской содержал отказ, решительный и аргументированный: вы сразу видели, что со «светлыми очами Юноны» сочетался ясный ум Минервы. Смысл ее ответа был таков: «Бумаги Карлоса Фрадику вверены ей, живущей вдали от светского шума, именно с той целью, чтобы они навсегда сохранили свой интимный характер и покров тайны, которым Фрадику их окружал; сообщить что-либо новое о его личности значило бы поступить заведомо наперекор той целомудренной и гордой скрытности, которая продиктовала волю завещателя...» Все это было написано крупным круглым почерком, на большом листе плотной бумаги; в углу блистал золотыми буквами под золотой короной девиз: *Per terrain ad coelum*<sup>2</sup>.

Таким образом, вокруг рукописей Фрадику установился непроницаемый мрак. Что заключалось в железном сундуке, который Фрадику с грустной гордостью называл «братской могилей», считая, видимо, бедными и тусклыми для мира мысли, похороненные на его дне?

Некоторые наши общие друзья думают, что там, вероятно,

---

<sup>1</sup> По праву красоты и ума (*франц.*).

<sup>2</sup> Земным путем к небу (*лат.*).

скрыты если не вполне законченные, то, по крайней мере, в набросках или даже в целостном виде, два произведения, посвященные вопросам, о которых Фрадики не раз говорил, как о самых привлекательных темах для мыслителя и художника нашего века — Психология религий и Теория воли.

Другие, как, например, Ж. Тейшейра де Азеведо, полагают, что среди этих бумаг находится роман, реалистическая эпопея, воскрешающая какую-нибудь угасшую цивилизацию, наподобие «Саламбо». Он основывает свое (недоброжелательное) предположение на письме Фрадики к Оливейре Мартинсу от 1880 года, в котором Фрадики говорит с загадочной иронией: «Чувствую, дорогой историк, что скользку по наклонной плоскости к занятиям дурным и суетным. Горе мне, горе мне! Перо мое устремляется в сторону зла! Какой-то недобрый гений, покрытый пылью веков, явился мне зимней ночью, навевающей мысли о декоративной археологической литературе; он держал под мышкой тяжелые фолианты и шептал: «Сочини роман! И в этом романе воскреси азиатскую древность!» И его слова показали мне сладостными, сладостными, как смерть!.. Что скажете вы, дражайший Оливейра Мартинс, если неожиданно получите в своих пенатах написанный мною и отпечатанный по всем правилам искусства том, начинающийся словами: «Это было в Вавилоне, в месяце Сивану, после сбора бальзама...»? Я уже сейчас предвижу, что вы закроете дрожащими руками свое искаженное испугом лицо и воскликнете: «О небо! Сейчас начнется описание храма Семи Сфер со всеми его террасами! И описание голубской битвы, со всеми доспехами воинов! И описание пира у Сеннахериба, со всеми подававшимися там яствами!.. Автор не пропустит ни одной вышивки на тунике, ни одного рельефа на сосудах! И это делает близкий друг!»

Рамальо Ортиган, напротив, склоняется к мысли, что бумаги Фрадики представляют собой мемуары, так как иначе не имело бы никакого смысла сохранять их в тайне.

Я же, знавший Карлоса Фрадики лучше и дольше их, думаю, что в испанском сундуке нет ни трактата по психологии, ни археологического романа (сочинение романа он считал постыдным и пустым афишированием поверхностных, приобретенных без труда познаний), ни мемуаров, писание которых чуждо человеку, всецело жившему абстрактной мыслью и скрывавшему свою личную жизнь с таким высокомерным целомудрием. И я беру на себя смелость утверждать, что в этом железном сундуке, хранящемся в старом русском помещицком

доме, нет никакого произведения, потому что Фрадики никогда, в сущности, не был литератором в прямом смысле этого слова.

Он не стал литератором, конечно, не потому, что ему не хватало для этого мыслей; просто он не был убежден, что мысли эти. по своей окончательной ценности, заслуживают быть записанными и увековеченными; и, кроме того, ему не доставало терпения или воли, чтобы отлить свои мысли в ту редко-стно-прекрасную форму, которую он считал единственно достойной воплотить их. Недоверие к себе, как к мыслителю, способному обновить философию и науку и дать человеческому духу новое направление; недоверие к себе, как к писателю, способному создать прозу, которая сама по себе, независимо от ценности мысли, могла бы невыразимо волновать души как нечто абсолютно прекрасное, — вот те две причины, которые обрекли Фрадику хранить молчание и ничего не печатать. Он желал, чтобы все, порожденное его разумом, неотразимо действовало на разум других людей своей окончательной истинностью или несравненной красотой. Если он был беспощадным и безошибочным критиком всего окружающего, ту же беспощадную и безошибочную критическую мысль, но с удвоенной силой, он обращал на себя. Чрезвычайно жизненное восприятие реальности вещей вынуждало его оценивать собственную мысль такой, какая она была, с ее истинными достижениями и истинными границами. «Угар литературной иллюзии», под действием которого иной литератор принимает свои нацарапанные чернилами строчки за ослепительные лучи света, никогда не туманил его взгляда. И придя к заключению, что ни его мысли, ни облакающая их форма не подарят человеческому духу ничего такого, что означало бы открытие новых путей для разума и искусства, он предпочел замкнуться в горделивом молчании. По соображениям, благородно отличавшимся от соображений Декарта, он следовал Декартову правилу: «*Bene vixit qui bene latuit*»<sup>1</sup>. Правда, он никогда не говорил мне ни о чем подобном, но я сам это подметил, увидел вполне ясно, когда в последнее рождество приехал погостить на улице Варенн у Фрадики и он принял меня с таким небывалым, незаслуженным гостеприимством. Дело было вечером; большой город за окнами жил шумной зимней жизнью; напившись кофе, мы уселись возле камина, протянули ноги к пылавшим и потрескивавшим в огне буковым поленьям и заговорили об Африке и об африканских религиях. Фрадику собрал в районе

---

<sup>1</sup> Хорошо прожил тот, кто хорошо скрывал свою жизнь (лат.).

Замбези много ярких, любопытных данных о культе умерших вождей: после смерти они становятся «Мулунгу», духами, которые творят добро и зло, но остаются в тех же хижинах и на тех же холмах, где протекала их жизнь; сравнивая церемонии и цели этих африканских культов с первобытными литургическими церемониями арийцев в Септа-Синду, Фрадики приходил к заключению (об этом он пишет в письме к Герре Жункейро), что самое существенное, необходимое и вечное в религии — это церемониал и литургия, а богословие и нравственные учения — несущественны, необязательны и преходящи.

Эта беседа совершенно очаровала меня, главная образом, из-за тех наблюдений жизни и природы Африки, которыми Фрадики иллюстрировал свой рассказ. Улыбаясь от восхищения, я сказал:

— Фрадики, почему бы тебе не описать это путешествие по Африке?

Я впервые подавал другу мысль написать книгу. Он посмотрел на меня с таким удивлением, словно я предлагал ему пройтись босиком в эту дождливую ночь до парка Марли. Затем, бросив папиросу в огонь, он меланхолично пробормотал:

— Зачем?.. Я не видел в Африке ничего такого, чего бы до меня не видели другие.

На мое возражение о том, что он взглянул на все, может быть, другими, более пронизательными глазами; что не каждый день по Африке путешествует человек, получивший философское образование и много знающий; что в науке одна истина требует тысячи исследователей, — Фрадики ответил почти раздраженно:

— Нет! Ни об Африке, ни о чем бы то ни было у меня нет таких мыслей, которые изменили бы направление современной науки... Я мог бы только сообщить ряд впечатлений, пейзажей. Но это уже и совсем плохо! Потому что слово, в том виде, как мы им владеем, пока бессильно воплотить малейшее умственное впечатление или даже воспроизвести очертания самого обыкновенного придорожного куста... Я не умею писать! Никто не умеет писать!

Смеясь, я запротестовал против этого обобщения, которое отметало все, без исключения и без пощады, и напомнил ему, что в нескольких ярдах от гревшего нас камина, в старом парижском квартале, где возвышаются Сорбонна, Французская Академия и Эколь Нормаль, жили да и сейчас живут многие люди, которые в совершенстве владеют «прекрасным искусством слова».



— Кто же это такие? — воскликнул Фрадики.

Я начал с Боссюэ. Фрадики пожал плечами с таким яростным презрением, что я осекся. И затем коротко, резко, безапелляционно он заявил, что на протяжении двух лучших веков Французской литературы, начиная с *моего* Боссюэ и кончая Бомарше, не было ни одного прозаика, чей слог обладал бы рельефностью, красочностью, силой, живым пульсом... Современники тоже никак его не удовлетворяли. Пафос и многословие Гюго так же невыносимы, как слюнявая дряблость Ламартина. Мишле недостает глубины и чувства меры; Ренану — основательности и энергии; Тэну плавности и прозрачности; Флоберу — жизни и тепла. Бедный Бальзак беспорядочно, варварски громоздит одно на другое. А манерность Гонкуров — просто неприлична...

Ошеломленный подобными оценками, я со смехом спросил этого свирепого критикана, какова же должна быть та идеальная, дивная проза, которая достойна быть написанной. И взволнованный Фрадики (ибо он не мог сохранять свое безмятежное хладнокровие, когда речь заходила о вопросах формы) сказал, вернее пробормотал следующее: «Проза должна быть кристальной, бархатной, струистой, мраморно-скульптурной, словом, такой, чтобы она сама по себе, благодаря своим пластическим качествам, воплощала бы идеал абсолютной красоты; а своей выразительной силой слово должно уметь воспроизводить все — от самых неуловимых переливов света до самых сложных состояний духа...»

— Короче, — воскликнул я, — это проза, какой не может быть!

— Нет! — закричал Фрадики, — это проза, какой еще нет!

И он добавил в заключение:

— И так как ее еще нет, то не стоит писать. Мы можем создавать только формы, лишенные красоты; а они вмещают менее половины того, что мы хотели бы выразить, потому что остальное не может быть сведено к слову.

Во всем этом, пожалуй, было нечто надуманное и ребячливое; но слова его вскрывали причину, по которой столь незаурядный человек не стал литератором: им владело гордое стремление говорить лишь абсолютно верные истины и выражать их лишь в абсолютно прекрасных формах.

Именно поэтому, а вовсе не по южной лени, как намекает Альцест, Фрадики не оставил других следов своей гигантской мыслительной работы, кроме тех блесков, что в течение долгих лет он рассыпал, по примеру древнего мудреца, «в приятных

вечерних беседах под платанами своего сада, и в письмах — тех же простых беседах с друзьями, когда их разделяли с ним волны»... Беседы эти пропали, развеялись по ветру: не было у Фрадики Мендеса своего восторженного и терпеливого Босвелля, который следовал за старым доктором Джонсоном по городам и селам, насторожив свои оттопыренные уши и держа наготове карандаш, чтобы записать и увековечить всякое слово учителя. От Фрадики остались только письма — крохотные осколки золотого самородка, о котором говорит Альцест; но и в них присутствует блеск, высокая ценность и великолепие той редкостной золотой глыбы, от которой они были отколоты.

## VIII

Если Фрадики подчинил всю свою жизнь столь твердому и неуклонному намерению избегать гласности и ничего не печатать, то не совершаю ли я теперь необдуманный и вероломный шаг, публикуя его письма и тем посмертно ввергая моего друга в шумную суету, от которой его всегда отвращала неподкупная честность перед самим собой? Этого можно было бы опасаться, если бы я не располагал неопровержимыми доказательствами того, что Фрадики безусловно одобрил бы план издания его переписки, подготовленного тщательно и любовно. В 1888 году, описывая ему свое романтическое путешествие по Бретани, я упомянул о книге, которую брал с собой в дорогу и читал с наслаждением — о «Переписке» Дудана, одной из тех замкнутых натур, весь смысл существования которых в самосовершенствовании и поисках истины, а не в погоне за славой. Подобно Фрадики, Дудан запечатлел свою напряженную интеллектуальную жизнь только в переписке, благоговейно собранной после его смерти теми, кому онверял свои мысли.

В ответном письме, посвященном всецело Пиренеям, где Фрадики провел лето, он добавил в постскриптуме: «Ты прав, переписку Дудана можно читать, и даже с интересом. Правда, в ней чувствуется некоторая духовная ограниченность: Дудан еще юношей ушел с головой в доктринерство Женевской школы, а затем, по причине болезни и одиночества, узнавал жизнь и людей только из книг. Во всяком случае, я читал эти письма, потому что читаю все вообще «Переписки». Не будучи задуманы с дидактической целью (и тем выгодно отличаясь от «Писем» Плиния), они представляют собой бесценный материал

для изучения психологии и истории. Право, это прекрасный способ увековечить мысли человека: обнародовать его переписку! Я безоговорочно одобряю это! Опубликование писем уже само по себе имеет то громадное преимущество, что ценность их и, следовательно, отбор тех, которые должны остаться, определяется не их автором, а друзьями и критиками, которые свободны в своих суждениях и могут быть требовательны, так как судят о человеке, которого уже нет в живых и которого они желают представить миру только с, лучшей, самой выгодной стороны. Кроме того, в письмах ярче, чем в каком бы то ни было произведении, выявляется индивидуальность человека; а это неоценимо, особенно в отношении тех, чей характер был интереснее, чем их талант. И вот еще что: если литературное произведение не всегда обогащает запас знаний, накопленный человечеством, то «Переписка», неизбежно фиксируя привычки, чувствования, вкусы и образ мыслей современников, всегда вносит новую лепту в сокровищницу исторических сведений. Итак, письма человека — дышащий жизнью и огнем документ — более поучительны, чем его взгляды, безличное порождение ума. Философия — не более чем гипотеза, каких много. Исповедь же целой жизни позволяет нам видеть реальность человеческого существования, которая вместе с другими объективными сведениями расширяет наше знание Человека — единственного объекта, доступного нашему разуму. И, наконец, письма — это записанная болтовня (определение не помню уже какого классика), они не требуют священнодейственного облачения в форму прозы, какой еще нет... Но на этом пункте следовало бы остановиться подольше, а я слышу, что к крыльцу уже подают коня: я попытаюсь совершить экскурсию на Бигорский пик».

Помня об этом высказывании Фрадики, таком ясном и так подробно обоснованном, я решил, лишь только во мне стала успокаиваться скорбь об этом удивительном человеке и друге, собрать его письма, чтобы люди могли узнать и полюбить хоть частицу души, которую я успел так близко узнать и так преданно полюбить. Я посвятил этой работе целый год, потому что переписка стала самым любимым занятием Фрадики с 1880 года, когда «исследователь материков» перешел к спокойному, оседлому образу жизни. По объему и богатству его переписка напоминает эпистолярное наследие Цицерона, Вольтера, Прудона и других могучих тружеников мысли.

Даже по бумаге видно, что письма эти писались с удовольствием: передо мной листы отличного ватмана, белого и блес-

тящего, по которому перо скользит так же легко, как голос разрезает воздух; они достаточно велики, чтобы на них поместилась самая сложная мысль во всем ее развитии; достаточно плотны, почти как пергамент, чтобы их не источило время. «С помощью Смита я установил, — пишет он Карлосу Манеру, — что каждое мое письмо, считая бумагу, конверт и марку, обходится мне в двести пятьдесят рейсов. Теперь тщеславно предположим, что в пятистах моих письмах содержится одна мысль, — отсюда следует, что каждая моя мысль стоит сто двадцать пять милрейсов. Этого простого подсчета достаточно, чтобы государство и экономный средний класс, который им управляет, с пылом начали кампанию за сокращение народного образования, доказав вполне неопровержимо, что курить дешевле, чем думать... Я сопоставляю мышление с курением, потому что — о Карлос! — это два идентичных процесса, состоящих в том, что мы пускаем по ветру небольшие облачка чего-то неуловимого».

В верхнем углу этих дорогостоящих листков стоят инициалы Фрадики — Ф. М., отпечатанные простым, мелким шрифтом, в красной эмали. Строки, написанные его рукой, на редкость неровные, чрезвычайно напоминают его разговор: почерк то сжатый и острый, словно вонзающийся в бумагу, как резец, чтобы как можно точнее очертить мысль; то неуверенный, с промежутками, росчерками, перерывами, как будто в процессе писания он медленно, ощупью доискивался истинной сущности вещей; то беглый и быстрый, когда строчки льются из-под пера свободно и непринужденно — точь-в-точь как его речь в минуты духовной щедрости и подъема, которые Фюстан де Карманж называл *le dégel de Fradique*, когда сдержанность и корректность нашего друга вдруг сменялась шаловливой, воздушной шуткой, подобной игре выпела на ветру.

Фрадики никогда не датировал своих писем, и если его друзьям было известно, откуда он пишет, то указывал только месяц. Существует бесконечное множество писем с такими сокращенными обозначениями: Париж, июль; Лиссабон, февраль. Нередко также он возвращал месяцам взятые у природы названия республиканского календаря — Париж, Флореаль; Лондон, Нивоз. Когда он писал женщинам, то заменял название месяца названием цветка, который обычно цветет в это время. У меня есть письма с такими буколическими датами: Флоренция, первые фиалки (что означает конец февраля); Лондон, цветут хризантемы (то есть начало сентября). На одном письме красуется даже такая жестокая дата: Лиссабон, пер-

вые ручки парламентского словоблудия (это означает: унылый январский день, грязь, пролетки на площади Сан-Бенто, а наверху — бакалавры, изрыгающие в своих речах хулу на ближнего, смешанную с застрявшими в их памяти формулами из затасканных конспектов).

Поэтому невозможно расположить письма Фрадики в хронологическом порядке; да хронологический порядок и не имеет значения, раз я не ставлю себе цели издать его переписку полностью и не тщусь охватить всю интимную историю его мысли. В письмах, не принадлежащих перу литератора и (в отличие от переписки Вольтера или Прудона) не составляющих непрерывного комментария к его произведениям, прежде всего нужно выделять те страницы, которые наиболее рельефно рисуют личность автора во всей совокупности мыслей, вкусов, привычек, живо и осязательно характеризуют человека. И поэтому из увесистой пачки писем Фрадики я выбираю только некоторые, единичные, из тех, что выявляют черты его характера или важные стороны деятельности; я отобрал и несколько писем, которые показывают какой-нибудь существенный эпизод жизни его сердца; и несколько таких, где обсуждаются отвлеченные вопросы литературы, искусства, общественной жизни, характеризуют склад его ума; включаю я сюда, ради их особого интереса, и некоторые его письма о Португалии, как, например, лиссабонские впечатления, описанные им с таким юмором и язвительной правдивостью, чтобы позабавить госпожу де Жуар.

Было бы, конечно, бесполезно искать на этих отрывочных страницах полную картину духовной жизни Фрадики Мендеса, с его возвышенным и свободным мышлением и глубокими, точными познаниями. Письма Фрадики Мендеса, как говорит в заключение Альцест — *c'est son génie qui mousse*<sup>1</sup>. И действительно, мы видим в них только сверкающую, недолговечную пену, шипящую и бьющую через край, а не то драгоценное, целительное вино, которое покоилось под ней и никогда не было разлито по бокалам, ни разу не послужило на благо жаждущих душ. Но даже в таком разбросанном виде переписка Фрадики рельефно воссоздает образ этого человека, столь замечательного во всех проявлениях своей мысли, своих страстей, своих отношений с людьми и своей деятельности.

Публикуя письма Фрадики Мендеса, я не только стремлюсь внушить моим современникам любовь к этому человеку,

---

<sup>1</sup> Это искристая пена на поверхности таланта (*франц.*).

которого я так любил, но и исполняю патриотический долг. Народ живет лишь потому, что мыслит, *Cogitat ergo est*<sup>1</sup>. Одной силы и богатства недостаточно, чтобы та или другая нация заслужила славное место в истории, точно так же, как крепких мускулов и набитого золотом кошелька недостаточно отдельному человеку, чтобы считаться гордостью человечества. Африканское царство, с бесчисленными воинами на биваках и бесчисленными алмазами в недрах гор, все равно останется дикой и мертвой землей, которую цивилизованные страны топчут и грабят ради выгод цивилизации с таким же хладнокровием, с каким бьют и режут бессмысленную скотину, чтобы питать животных мыслящих. И с другой стороны, если бы Египет или Тунис стали выдающимися центрами науки, литературы или искусства и через своих возвышенных гениев долго учили остальной мир — ни один народ, даже в наш век железа и насилия, не посмел бы захватить, как незасяемое и никому не принадлежащее поле, царственную землю, где родились высокие мысли и прекрасные формы, — родились, чтобы сделать человечество более совершенным.

Поистине, только мысль и ее высшее достижение — Наука, Литература и Искусство — даруют народам величие, снискивают им всеобщее уважение и любовь и, образуя сокровищницу истин и красот, нужных всему миру, делают землю этих народов священной для людей. В самом деле, какая разница между Парижем и Чикаго? И тот и другой — оживленные промышленные города, чьи дворцы, учреждения, парки, богатства приблизительно равноценны. Так почему же Париж является огнекипящим центром цивилизации и неотразимо влечет к себе человечество и почему Чикаго означает на земле только громадный амбар, где можно купить муку и зерно? Потому что в Париже, кроме дворцов, учреждений и богатств, которыми по праву славится и Чикаго, есть особенный круг людей: Ренан, Пастер, Тэн, Бертелло, Коппе, Бонна, Фальгьер, Гуно, Массне, которые неустанной работой своего мозга превращают обыкновенный город, где они проживают, в средоточие высшей духовной жизни. Но если бы «Происхождение христианства», «Фауст», картины Бонна, статуи Фальгьера были созданы за океаном, в молодом и монументальном Чикаго, то к Чикаго, а не к Парижу, обратились бы мысли и сердца обитателей Земли, как растения поворачиваются туда, откуда светит солнце. И если народ становится великим только потому, что мыслит,

---

<sup>1</sup> Он мыслит — значит существует (*лат.*).

то человек, открывший для своих соотечественников истинный облик сына их земли, с умом, сильным и своеобразным, совершает патриотическое дело, умножая единственную славу своего народа, которая может заслужить ему уважение других народов. Такой человек словно прибавляет новую святыню к древним святыням родины или воздвигает над стенами ее крепости новую башню.

Мишле говорит об Антеро де Кентале в одном из своих писем: «Если в Португалии есть еще четыре или пять таких личностей, как творец «Современных од», то Португалия по-прежнему остается великой, живой страной...» Автор «Истории Франции» хотел этим сказать, что пока в нашей стране живет мысль, то пусть способность действовать в ней умерла — все равно, страна эта еще не вся обратилась в труп, который позволительно попираť ногами и разрывать на части. Но работа мысли многообразна; не все ее проявления равно блистательны, но все они равно показывают, что породивший ее народ жив. Книга стихов свидетельствует о том, что душа нации еще живет в ее поэтическом гении; совокупность мудрых законов, созданных положительным творческим усилием, может убедительно доказать, что душа нации живет в ее практическом гении; и появление мыслителя вроде Фрадики служит залогом того, что душа его народа жива — пусть в менее грандиозных, но не менее ценных проявлениях мысли: в остроумии, даре непринужденной импровизации, высокой иронии, фантазии, юморе, хорошем вкусе...

В наше смутное и горькое время португальцы вроде Фрадики не должны быть преданы забвению, вдали от родины, под безмолвной плитой мрамора. Поэтому я открываю его для моих соотечественников — в знак утешения и надежды.

ПИСЬМА

I

Виконту А. Т.

*Лондон, май.*

Дорогой соотечественник!

Вчера поздно вечером, вернувшись из-за города, я нашел записку, в которой Вы оказываете честь моей опытности, спрашивая, «кто самый лучший портной в Лондоне?». Это полностью зависит от цели, для которой Вам нужен сей художник. Если Вы ищете просто мастера, способного недорого и удобно прикрыть Вашу наготу, тогда рекомендую выбрать того, чья мастерская ближе всего к Вашему отелю. Вы сэкономите несколько шагов, а ведь каждый шаг, как говорит Экклезиаст, сокращает расстояние до могилы.

Но если Вы, дорогой соотечественник, желаете найти портного, который придаст Вам вес и значение в свете; чье имя можно с гордостью упомянуть у подъезда Гаванского табачного магазина; в чьем изделии можно неторопливо взойти на крыльцо, повертываясь во все стороны и демонстрируя покрой сюртука, легко и свободно охватывающего Вашу талию; если Вы хотите одеваться у портного, чья фирма дает право перечислять встреченных у него лордов, надменно указывающих тростью шевиот, который они выбирают для охотничьей куртки; если позже, в годы ревматической старости, этот костюм должен послужить Вам утешительным воспоминанием о годах элегантной молодости — тогда настоятельно рекомендую Вам Кука (Томаса



Кука): он сейчас в чрезвычайной моде, абсолютно разорителен и все портит.

Всегда готовый и впредь рекомендовать Вам поставщиков в Лондоне или любой другой точке вселенной,

*Фрадике Мендес.*

## II

Госпоже де Жуар  
(С франц.)<sup>1</sup>

*Париж, декабрь*

Дорогая крестная! Вчера у госпожи Трессан, когда я вел к столу Любушу, подле вас под ужасным портретом маршальши Муи сидела и разговаривала белокурая женщина с высоким, чистым лбом; она тотчас мне понравилась: хотя она небрежно расположилась в глубоком кресле, я почувствовал, что у нее должна быть походка редкой грации — гордой и легкой грации, свойственной богине или птице. Совсем не то, что наша ученая Любуша, которая движется грузно и величаво, как статуя! И мои каракули проистекают из интереса к этой дианической (от имени Дианы) крылатой походке.

Кто эта дама? Вероятно, приехала к нам из недр провинции, живет в каком-нибудь старом замке в Анжу, окруженном рвом, скаты которого поросли травой. Я не припомню, чтобы видел в Париже эти сказочно белокурые волосы, светлые, как лондонское солнце в декабре; не видел я в эти покатые плечи, скорбные, ангельские, как у мадонны Мантеньи, и совершенно вышедшие во Франции из моды со времен Карла X, «Лилии в долине» и непонятых сердец. Далеко не с таким восторгом я смотрел на ее черное платье, на котором ярко желтели какие-то украшения. Но руки ее безупречны; и на ресницах, когда она их опускала, казалось, повис грустный роман. Сначала она показалась мне мечтательницей в духе Шатобриана. Но потом я заметил в ее глазах искорку впечатлительной живоности, которая отодвигает ее в XVIII век. Вы, дорогая крестная, вероятно, скажете: «Как он мог все это приметить, проходя под руку с Любушей и под ее бдительным взором?» Но дело

---

<sup>1</sup> Многие из публикуемых писем Фрадике Мендеса написаны, естественно, по-французски. Они даны в переводе, с пометкой — с франц. (*Прим. автора.*)

в том, что я вернулся. Вернулся и, прислонясь к косяку двери, еще раз залюбовался скорбными плечами мадонны XIII века и копной золотистых волос; свет канделябра, спрятанного среди орхидей позади нее, окружал их сияющим нимбом; по больше всего пленила меня невыразимая прелесть ее глаз, глаз задумчивых и нежных... Задумчивых и нежных. Это первое подходящее выражение, каким я сегодня сумел очертить действительность.

Почему я не подошел и не попросил «представить» меня? Не знаю. Может быть, я медлил намеренно, как Лафонтен: направляясь к блаженству, он всегда выбирал самый долгий путь. Вы знаете, что придавало такую влекущую силу замку Фей во времена короля Артура? Не знаете, потому что не читали Теннисона... Так вот, главным его очарованием было бесконечное число лет, уходящее на то, чтобы проникнуть через волшебные сады, где каждый уголок таил неожиданность: любовь, сражение или пиршественный стол... Решительно, сегодня я проснулся с болезненной склонностью к азиатскому стилю. Факт тот, что после долгого созерцания у дверного косяка я вернулся и сел ужинать рядом с моей прекрасной тиранкой. Но между банальным сэндвичем с foie-gras<sup>1</sup> и рюмкой токайского (нисколько не похожего на тот токай, каким угощала Вольтера госпожа Этиоль, о чем он вспоминал в старости — ибо вина Трессанов восходят по мужской линии к ядам Бренвилье) я видел, неотступно видел перед собой глаза — задумчивые и нежные. Во всем животном мире только человек способен одновременно наслаждаться задумчивой томностью взора и ломтиками foie-gras. Этого ни за что не сделала бы собака хорошей породы. Но разве «женственная эфемерность» тянулась бы к нам, если бы в нас не было плотской грубости, ниспосланной Провидением? Только та доля физического-материального, которая заключается в мужчине, примиряет женщину с той неискоренимой долей идеального, которая тоже в нем имеется и приносит миру столько тревожных волнений. В глазах Лауры больше всего повредили Петрарке его сонеты; и когда Ромео, стоя одной ногой на шелковой лестнице, медлил, изливая свой восторг ночи и луне, Джульетта нетерпеливо барабанила пальчиками по перилам балкона и думала: «Ах, какой же ты болтун, сын Монтекки!» Этой детали нет у Шекспира, но ее подтверждает все Возрождение. Не браните меня за откровенность, ведь я скептик и южанин, и дайте мне знать, ка-

---

<sup>1</sup> Печеночный паштет (франц.).

ким именем крещена в своем приходе белокурая владелица замка в Анжу. Кстати, о замках: мне пишут из Португалии, что беседка, заказанная мною для имения в Синтре и предназначавшаяся для Ваших «уединенных размышлений в часы полудня», рухнула. Три тысячи восемьсот франков ухлопано на груды камней. Все разваливается в стране развалин. Архитектор, строивший беседку, — депутат и печатает в «Вечерней газете» меланхолические эссе о финансах! Мой управляющий в Синтре рекомендует теперь для восстановления беседки достойного юношу из хорошей семьи, который понимает толк в строительстве и служит в прокуратуре! Наверно, если мне понадобится юрисконсульт, мне порекомендуют каменщика. И с этими-то веселыми принципами мы собираемся восстанавливать наши владения в Африке!

Ваш покорный и верный слуга

*Фрадики.*

### III

Оливейре Мартинсу.

*Париж, май.*

Дорогой друг!

Исполняя, наконец, обещание, данное тебе, ученому отшельнику, в Агуас-Ферреас, в твоей келье, в то памятное утро, когда, сидя на мартовском солнышке, мы рассуждали о характере древних; и прилагаю, в качестве документа, фотографию мумии Рамзеса II (которого легкомысленный француз, вслед за легкомысленным греком, упорно называет Сезострисом): эту мумию недавно откопал в царских усыпальницах Мединет-Абу профессор Масперо.

Дорогой Оливейра Мартинс, не находишь ли ты забавно-многозначительным этот факт: фотография Рамзеса? Вот и оправдание обычая бальзамировать трупы, на что добрые египтяне затратили такую уйму труда и денег, дабы люди могли, как говорит один писец, сохраняя свою телесную оболочку, пользоваться «преимуществами вечности». Ныне Рамзес, в соответствии со своей верой и обещаниями фиванских метафизиков, действительно воскрес со всеми костями и принадлежавшей ему кожей, в текущем 1886 году по рождестве Христове. А ведь 1886 лет плюс еще 1400, протекшие до рождества Христова, составляют вполне приличную вечность и будущую жизнь для фараона девятнадцатой династии. И вот мы теперь можем воочию созерцать истинные черты вели-

чайшего из Рамзесов, не хуже Хокема, его главного евнуха, или Пентаура, первого летописца, и всех тех, кто в дни торжеств, «по-праздничному причесав волосы и умастив кожу сегабайскими маслами», усыпали цветами путь фараона. Вот он перед тобой на фотографии; веки его опущены, на лице играет улыбка. Что говорит мне это царственное лицо? Какие оно вызывает обидные размышления о безостановочном вырождении человека! Кто из нынешних правителей мог бы похвастать таким высоким лбом, на котором лежала бы печать спокойной и безмерной гордости; у кого вы увидите эту чудную улыбку всемогущего благоволения, неизреченного благоволения, объемлющего весь мир? На чем лице выражается эта невозмутимая и неукротимая сила? Где найдешь это мужественное великолепие, которого не смог погасить за 3000 лет мрак подземелья? Вот истинно властитель людей! Сравни это величественное лицо с вялой, хитрой, усатой физиономией какого-нибудь Наполеона III; с мордой цепного бульдога, которая заменяет лицо Бисмарку; или с обликом русского царя, с его неподвижно-угодливыми чертами, которые лучше подошли бы его собственному камер-лакею. Как пошлы, как безобразно-хитры лица этих властелинов!

Отчего это происходит? Оттого, что душа формирует лицо, как дыханье древнего стеклодува формировало тонкий сосуд; а в условиях нашей цивилизации душа не может развиваться и расцвести в полную меру своей силы. Когда-то обыкновенный человек — пучок мускулов на каркасе из костей — мог подняться во весь рост и действовать, как стихия природы. Достаточно было беспредельного желания, чтобы достичь беспредельной мощи. Вот Рамзес — существо, которое все хочет и все может и которому Пта, мудрый бог, говорит со страхом: «Твоя воля дает жизнь, и твоя воля посылает смерть!» Достаточно этому властелину пожелать, и он двинет целые народы на север, на юг, на восток; он меняет или сравнивает с землей, точно изгороди в поле, границы государств; новые города встают там, где прошла его нога; для него рождаются земные плоды, к нему обращены все надежды людей; место, на котором остановился его взор, благословенно и процветает, а место, лишненное этого благотворного света, лежит, как «почва, которой не поцеловал Нил»; боги зависят от него, и Аммон трепещет от страха, когда перед пилонами его храма Рамзес щелкает своим боевым бичом, сплетенным из трех волокон. Вот человек! Он, безусловно, вправе написать на триумфальном обелиске: «Все склонилось пред моей силой; я хожу, где хочу, свободными шагами

льва; цари богов сидят одесную и ошую от меня; когда я говорю, небо внемлет; все земное простирается у моих ног, чтобы я мог взять, что мне нужно, свободной рукой; я навеки воссел на троне мира!» «Миром», конечно, была лишь область, в большей своей части покрытая песками, между Ливийским хребтом и Месопотамией: нигде не встретишь более необузданной напыщенности, чем в панегириках летописцев. Но этот человек был или считал себя великим, и сознание несравненного величия и неограниченной власти отразилось в чертах его лица и придало ему ту горделивую мощь, проникнутую улыбчивой ясностью, которую Рамзес сохраняет даже по ту сторону жизни, — высушенный, набальзамированный и пропитанный смолами.

С другой стороны, взгляни на обстоятельства, среди которых существует властитель типа Бисмарка. Несчастный ни над чем не возвышается и от всего зависит. Каждое его поползновение наталкивается на какое-нибудь препятствие. Его деятельность состоит в том, что он беспрерывно колотится головой о толщу накрепко запертых ворот. Всякого рода условности, традиции, права, предписания, интересы, принципы ежеминутно возникают на его пути, как заповедные грани. Достаточно появиться заметке в газете — и он в нерешительности останавливается. Ловкий ход крючкотвора принуждает его поспешно спрятать уже выпущенные когти. Десять глупых буржуа и десять лохматых профессоров, проголосовав в палате, повергают наземь высокие леса его планов. Несколько флоринов в казенном сундуке становятся кошмаром его ночей. Ему так же невозможно распорядиться судьбой какого-нибудь гражданина, как ходом небесного светила. Никогда он не может шагнуть без оглядки, прямо и уверенно: он должен извиваться и ползти. Бдительная слежка окружающих вынуждает его разговаривать вполголоса и таясь. Вместо «срывания земных благ свободной рукой», он урывает их по крохам после долгих и сложных интриг. Могучие потоки мыслей, чувств, интересов несутся под ним и вокруг него; по-видимому, он управляет ими, потому что жестикулирует и шумит, стоя на возвышении; но в действительности это они увлекают его за собой. Так всемогущий властелин типа Бисмарка лишь изредка и лишь на первый взгляд находится выше всего великого. Нет! На деле он, как отвязанный буюк, просто плывет, уносимый потоком.

Жалкая власть! И сознание своего ничтожества не может не отразиться на физиономии наших властителей: оттого-то и

бывает у них это деланное, искаженное, вымученное, кислое и, главным образом, помятое выражение, какое можно наблюдать на лице Наполеона, царя, Бисмарка и всех тех, кто в наше время держит в своих руках наибольший потенциал власти. Они выглядят как помятый предмет, который катится по наклонной плоскости, то и дело толкаясь и ударяясь о поперечные стенки.

Одним словом, мумия Рамзеса II (единственное подлинное изображение древнего человека, известное нам) доказывает следующее: так как человеку сделалось невозможно прожить жизнь с максимальной свободой и максимальным проявлением силы, не ограниченной ничем, кроме его желания, то в результате навсегда утрачен физический тип человека, воплотившего в себе величие. Нет больше величественных лиц, есть только мелкотравчатые маски, на которых желчь роет морщины в складках кожи. Благородные физиономии остались только у диких зверей, истинных Рамзесов пустыни: они не потеряли ни своей силы, ни своей свободы. Современный же человек, даже достигший социальных высот — это бедный Адам, сплюснутый между страницами свода законов.

Если на твой взгляд все это преувеличение и плод фантазии, то могу дать объяснение: вчера я обедал и, следовательно, не мог не побеседовать с твоим политическим единомышленником П., статским советником и *tuchas cosas más*<sup>1</sup> (*más* по-испански и *más* также по-португальски). Это письмо — реакция на разговор, пропахший ароматом советника. Ах, друг мой, несчастный друг, что делаешь ты, когда на тебя низвергается словесный поток из уст советника? Я принимаю внутреннюю ванну, очистительную ванну, огромную ванну фантазии, кудавливаю для аромата флакончик Шелли или Мюссе.

Твой верный друг

*Фради́ке Мендес.*

#### IV

Госпоже С.

*Париж, февраль.*

Мой милый друг!

Испанца зовут дон Рамон Коваррубия, живет он в пассаже Сонье, № 12, и так как он араговец и, значит, непривередлив, то, вероятно, удовольствуется десятью франками за урок. Но если Ваш сын уже знает испанский язык настолько, что-

---

<sup>1</sup> Здесь: и прочее и прочее (*исп.*).

бы понимать «Романсеро» и «Дон-Кихота», если он прочел кое-что в плутовском жанре, разобрал двадцать строк из Кеведо, знает две комедии Лопе де Вега и один-два романа Гальдоса (а в испанской литературе больше ничего и нет), то зачем вы, моя разумная притятельница, еще желаете, чтобы он говорил на испанском языке, и без того ему известном, с подлинным акцентом, вкусом и остроумием мадридца, родившегося на Калье Майор? Стоит ли милому Раулю тратить время, отпущенное на приобретение знаний и понятий (а юноше с именем, состоянием и красивой наружностью общество отпускает на это только семь лет — от одиннадцати до восемнадцати), на что? На праздную роскошь, на излишнее, ненужное оттачивание того, что является простым орудием приобретения знаний и понятий! Ибо языки, мой добрый друг, — не более чем орудие познания, точно такое же, как, например, орудие обработки земли. Тратить энергию и время на то, чтобы научиться говорить на иностранном языке так чисто и правильно, будто это родной ваш язык и будто именно на нем вы впервые попросили хлеба и воды, — это значит поступать, как земледелец, который не довольствовался бы для копания земли обыкновенным куском железа, насаженным на деревянную рукоятку, а тратил бы драгоценное время, необходимое для обработки огорода, на вырезыванье узоров на рукоятке и гравирование эмблем на железе. Что случилось бы, милостивая государыня, с вашими садами в Турени, если бы ваш садовник, забыв о них, всецело занялся украшением своей лопаты?

Человек должен говорить с непогрешимой верностью и чистотой только на своем родном языке; на всех же других пусть говорит плохо, надменно плохо, и пусть неверный и смешной акцент выдает в нем иностранца. Ведь в языке живет национальность, и кто с одинаковым совершенством владеет всеми языками Европы, тот постепенно теряет свой национальный облик. Родной язык утрачивает для него свою прелесть, свою исключительность, перестает воздействовать на его чувства и тем самым перестает отделять его от людей других национальностей. Космополитизм речи неизбежно приводит к космополитизму характера. Полиглот не может быть патриотом. Каждый новый усвоенный им язык вводит в его нравственный организм чуждый образ мыслей, чуждый способ чувствования. Его патриотизм растворяется в привязанности к иноземному. Rue de Rivoli, calle d'Alcalá, Regent-Street, Wilhelmstras-

se<sup>1</sup> — не все ли ему равно? Все это — улицы, вымощенные булыжником или покрытые макадамом. Речь, которую он слышит на любой из этих улиц, звучит для него одинаково естественно, это сродная ему стихия, в которой дух его движется свободно, непосредственно, без колебаний и неловкости. А если через слово — главное орудие общения людей — он может слиться с каждым народом, то все эти страны он ощущает и приемлет как родину.

С другой стороны, постоянное усилие выражаться на чужом языке без ошибок, с неукоснительным соблюдением всех особенностей его строя и акцента (то есть постоянное усилие слиться с чужими людьми в том, что для них особенно характерно), заглушает в нем собственную природную индивидуальность. По прошествии многих лет этот искусник, умеющий говорить на всех языках, кроме родного, теряет всякую духовную самобытность; мысли его неизбежно приобретают безличный, нейтральный характер, ибо только такие мысли могут быть равноценно выражены далекими друг от друга по строю и духу языками. Фактически мысли этого полиглота становятся похожи на тех бедняков, о которых наш народ сложил грустную поговорку: «На них хорошо сидит платье с любого плеча».

И, кроме того, стремление говорить безупречно на иностранном языке даже в глазах самих иностранцев является каким-то неприятным, недостойным кривляньем. Есть что-то унижительное в этом усиллии не быть самим собой, слиться с ним, с иностранцем, и именно в наиболее самобытном, наиболее природном — в слове. Ведь это не что иное, как отречение от национального достоинства. Нет, милая сеньора! Будем говорить на чужом языке благородно плохо, патриотично плохо! Хотя бы потому, что полиглот самим иностранцам внушает одно лишь недоверие; они чувят в нем существо без собственных корней, без постоянного очага, существо, которое пробавляется около чужих наций, маскируется поочередно под каждую из них и пробует обосноваться то среди одной, то среди другой, так как ни одна не хочет терпеть его у себя. И действительно, дорогой мой друг, если вы просмотрите «Судебную газету», то убедитесь: высшая степень владения всеми языками — орудие самого квалифицированного мошенничества.

---

<sup>1</sup> Улица Риволи, улица Алькала, Риджент-Стрит, Вильгельмштрассе.



Однако я увлекся игрой мысли и вместо адреса посылаю вам трактат! Но, прочитав его, вы, быть может, улыбнетесь, подумаете и избавите вашего Рауля от тягостных потуг произносить: «¡Viva la gracia!» и «¡Benditos sean tus ojos!»<sup>1</sup> — точнехонько так, как если бы он жил на углу Пуэрта-дель-Соль, носил плащ с бархатными полами и сосал папироску, как сам Ласарильо. И все это, однако, не мешает вам воспользоваться услугами дона Рамона: он не только почитатель Соррильи, но и весьма недурной гитарист и владеет не только языком Кеве-до, но и гитарой Альмавивы. И ваш красавец Рауль приобретет благодаря ему новую возможность выражать себя: посредством гитары. А это чудесный дар! Для юноши — как, впрочем, и для старика — гораздо полезней уметь при помощи медных струн облегчить душу от всего неясного и безымянного, что в ней теснится, чем самым безукоризненным образом спросить в гостинице хлеба и сыра на шведском, голландском, греческом, болгарском и польском языках.

Да разве уж так необходимо даже ради этих насущных нужд души и тела «странствовать годами под суровой ферулой учителей по пустыням и болотам грамматики и произношения», как выражался старик Мильтон? У меня была замечательная тетка, которая говорила только на португальском языке, вернее на миньотском наречии, что не помешало ей объездить всю Европу вполне спокойно и удобно. Дама эта, веселого нрава, но хворавшая желудком, питалась преимущественно яйцами, которые она знала только под их родным португальским названием: ovos. Huevos, oeufs, eggs, Eier были для нее бессмысленными звуками природы, вроде кваканья лягушек или треска дерева. И когда в Лондоне, Берлине, Париже, Москве ей нужны были яйца, эта находчивая дама требовала к себе метрдотеля, вперяла в него свои умные, выразительные глаза, приседала с самым серьезным видом на ковре и, медленно покачивая пышными юбками, на манер растопырившей перья наседки, кричала: «Ко-ко-ко-ко! Ки-ки-ри-ки! Ко-ко-ри-ко!» И нигде — ни в безвестных деревушках, ни в славных центрах мировой цивилизации — моя тетушка не оставалась без яиц, и притом самых свежих!

Целую Ваши ручки, дорогая моя благожелательница.

*Фрадики.*

---

<sup>1</sup> Слава красоте! Благослови тебя бог, красавица! (*исп.*)

Герре Жункейро,

*Париж, май.*

Дорогой друг!

Ваше письмо преисполнено поэтических иллюзий. Если вы простодушно полагаете, что достаточно поразить стихами (даже вашими — а они сверкают ярче стрел Аполлона) церковь, священников, литургию, таинства, постные дни и мощи великомучеников, чтобы «очистить идею бога от наносов шаманства» и поднять народ (в понятие «народ» вы, по-видимому, включаете и статских советников) до понимания чистой идеи бога, равнозначной чистому понятию нравственности, основанной на вере, — то это значит, что вы судите о религии, о ее сущности и цели как мечтатель, упорствующий в своих мечтаниях!

Мой добрый друг! Отнимите у религии ритуал, и религия исчезнет, ибо для большинства людей (за исключением нескольких философов, моралистов и мистиков) религия есть не что иное, как совокупность обрядов. При помощи этих обрядов каждый народ надеется войти в общение со своим богом, чтобы получать от него милости. Именно это и только это является целью всех культов, начиная от самого примитивного, культа Индры, до новейшего — культа сердца Марии, внедрение которого в Вашем приходе так возмущает Вас, о неисправимый идеалист!

Если хотите проверить это на истории, покиньте Вианудо-Кастело, возьмите посох и пройдете вместе через всю древность — в ту тщательно обработанную и щедро орошенную область, что лежит между рекой Индом, отрогами Гималаев и песками великой пустыни. Мы находимся в Септа-Синду, Семиречье, в Счастливой долине, в земле арийцев. В первом же селении, где мы остановимся, Вы увидите на верхушке холма алтарь из камней, покрытый свежим мхом. На нем тускло чадит огонек. Вокруг алтаря ходят люди в полотняных одеждах и с длинными волосами, схваченными обручем из чистого золота. Друг мой, это священники, первые капелланы человечества; на заре майского дня они совершают обряд арийской литургии. Один очищает от коры и сучков поленья, которые будут питать священный огонь; другой долбит в ступке ароматические травы, дающие «сому», и стук его пестика должен греметь, «как бубен победы»; третий, точно сеятель, разбрасывает зерна овса вокруг жертвенника; четвертый простирает руки к

небу и затягивает простой, суровый напев. Эти люди, друг мой, выполняют обряд, заключающий в себе всю религию арийцев. Цель их — умиловать Индру, а Индра — это солнце, огонь, божественная сила, которая может насыть беду и погрузить в скорбь земледельца: иссушить оросительные каналы, сжечь пастбища, выпустить чуму из болот и сделать Семиречье «бесплодным, как злое сердце». Но та же сила, растопив снега Гималаев и пролив с ударом грома «дождь, бременящий чрево туч», может вернуть воду руслам, зелень лугам, безвредность болотам и изобилие дому арийца. Короче говоря, надо убедить Индру быть арийцу другом и изливать на Семиречье те блага, которые необходимы земледельческому и пастушескому народу. Во всем этом нет и намека на метафизику или этику, нет ни объяснения природы богов, ни правил поведения для людей. Есть просто литургия, совокупность обрядов, которые ариец должен соблюсти, если хочет, чтобы Индра услышал его, — ибо опыт поколений показал, что Индра только тогда услышит его, лишь в том случае дарует искомые блага, если вокруг алтаря некие старцы, принадлежащие к некоей касте и одетые в белое полотно, воспоют ему приятные песнопения, сделают возлияния, принесут дары из плодов, пчелиного меда и мяса ягненка. Без даров, без возлияний, без песнопений и без ягненка Индра прогневится, спрячется в глубинах Невидимого и Недостижимого, не сойдет на землю и не разольется потоками доброты. И если из Вианы-до-Кастело явится некий поэт и отнимет у арийца алтарь, покрытый мхом, священное полено, ступку, сито и сосуд с сомой, то ариец лишится всех способов умиловать своего бога, и бог больше не услышит его, и «он будет на земле как дитя без пищи, чьих шагов никто не оберегает».

Эта первобытная религия — абсолютный и неизменный образец всех вообще религий. Все они бессознательно воспроизводят этот образец, ибо в нем заключается всякая религия, безотносительно к чуждым ей элементам богословия и этики, вводимым в нее возвышенными умами. Во всех странах, у всех народов, религия обожествляет либо силы природы, либо души мертвых. Все религии состояли или состоят из суммы определенных приемов, при помощи которых простой человек хочет заручиться благоволением божества и получить наивысшие блага: здоровье, силу, мир, богатство. И даже тогда, когда человек, уже более уверенный в своих силах, ищет этих благ у гигиены, порядка, закона и труда, он все-таки продолжает умиловать божество обрядами, чтобы божество помогло

его усилиям. То, что мы видим в Семиречье, Вы можете проверить (прежде чем мы вернемся в Виану пить молодое монсанское вино, воспетое Вами) на классической древности, причем где угодно: в Афинах или Риме, в момент наивысшего расцвета греко-латинской цивилизации. Если вы спросите древнего — будь-то горшечник из Субурры или сам *Flamen Dialis*, — в чем заключается его вероучение или сумма моральных принципов, образующих его религию, он ответит непонимающей улыбкой и скажет, что религия — это *pacēs deorūm quaeerere* — умиротворять богов и упрочивать их благоволение, а для этого, по понятиям античного человека, надо исполнять обряды, ритуальные действия и произносить известные слова, ибо долгая традиция доказала, что только этим можно привлечь внимание богов, повлиять на них, завоевать их расположение; и очень важно не изменить ничего в этом церемониале — ни одного слога в молитве, ни одного жеста при жертвоприношении, — иначе богам не понравится молитва, она не дойдет до их слуха, и боги останутся безучастными и равнодушными; и тогда религия не достигнет своей главной цели: воздействовать на божество; хуже того, религия станет безбожной, и боги, видя в отступлениях от ритуала недостаток веры, немедленно обрушат на неверных молнии своего гнева. Расположение складок на тунике священнослужителя, шаг направо, шаг налево, количество капель вина во время возлияния, размер поленьев для жертвенного огня — все эти подробности были у древних раз и навсегда установлены ритуалом, и любое упущение или отступление рассматривалось как нечестие. По существу, это было даже преступление против отечества, потому что могло навлечь на всю страну гнев богов. Сколько погибло легионов, сколько пало крепостей — и все из-за того, что первосвященник уронил щепотку пепла с жертвенника или из-за того, что гаруспекс вырвал слишком маленький клочок шерсти с головы жертвенного ягненка! Поэтому в Афинах наказывали жреца, который изменил церемониал, и сенат низлагал консулов, совершивших даже самую незначительную ошибку в жертвоприношении (например, если тога осталась у них на голове, вместо того чтобы в положенный момент соскользнуть на плечо). Так что, если бы Вы жили в Риме и в блистательных сатирах высмеивали богов, Вы были бы, возможно, великим и любимым комическим поэтом; но если бы Вы вздумали, как в «Старости вечного отца», высмеивать литургию и церемониал, то стали бы врагом общества, изменником родины и были бы брошены в Туллианскую тюрьму.

А если Вам надоела древность и Вы предпочитаете вернуться в нашу философическую эпоху, то в двух великих религиях Востока и Запада, в католичестве и буддизме, вы найдете еще более ясное подтверждение того, что религия — это действительно не что иное, как совокупность обрядов. Богословие и мораль стоят над ними как нечто внешнее, как интеллектуальная игра, излишество и преходящая роскошь; это цветы, которыми украсила алтарь наша фантазия или наша жажда добродетели. Католицизм (и никто не знает этого лучше вас) сводится ныне к краткому перечню практических правил; а ведь нет другого вероучения, в пределах которого разум воздвиг бы столь обширное и величественное здание богословских и нравственных концепций! Но эти концепции — дело ученых и мистиков. По существу, они так и остались достоянием монастырей, где были драгоценным материалом для диалектики и поэзии. Толпе же они неизвестны и никогда не управляли умами и поступками. Сведенные в катехизисы и прописи, эти основные правила заучиваются народом; но вы никогда не убедите народ, что можно верить в бога, служить богу и быть угодным богу лишь тем, что исполняешь десять заповедей. Народ даже убежден, что эти десять заповедей, деяния милосердия и другие моральные предписания катехизиса — не что иное, как стишки, которые надо прошептать губами, и тогда в них проявится чудесная сила: они привлекут благоволение и милость бога. Чтобы служить богу (то есть *угождать* богу), самое главное — это слушать мессу, перебирать четки, поститься, причащаться, давать обеты, дарить облачения святым и т. д. Только этими обрядами, а вовсе не выполнением нравственного закона, можно расположить к себе бога и получить от него бесценные дары: здоровье, счастье, богатство, мир. Даже рай и ад — эти вземные формы поощрения и наказания — никогда, по убеждению народа, не даются за исполнение или за нарушение закона. Вероятно, именно поэтому, и вполне резонно, католицизм считает награду и наказание не актом справедливости, но актом милости бога. А милость бога, по представлению простых людей, можно заслужить не безупречной жизнью, а постоянным в неуклонным исполнением обрядов: мессой, постом, покаянием, причащением, чтением молитв по четкам, жертвой, обетом. Иными словами, как в католической вере миньотца, так и в религии арийца, как в Карразеде-де-Ансиайнс, так и в Семиречье вся религия сводится к умиловлению бога посредством угодных ему благочестивых обрядов. Нет в этом ни богословия, ни морали. Есть только дейст-

вие существа бесконечно слабого, которое хочет расположить к себе существо бесконечно сильное. И если вы, очищая католицизм от шаманства, устраните священника, епитрахиль, облатку, флакончик со святой водой, то есть ритуал и литургию, то католик сейчас же отвернется от религии, которая не имеет видимой глазу церкви и не дает простых и ощутимых способов вступить в общение с богом, чтобы получить от него сверхчувственные блага для души и чувственные блага для тела. Католицизм в тот же миг рухнет, и миллионы людей потеряют своего бога. Церковь и бог — это все равно, что сосуд и содержимое в нем ароматическое вещество: церковь распалась — бог испарился.

Если бы у нас было время отправиться в Китай или на Цейлон, мы бы столкнулись с тем же явлением у буддистов. Буддизм выработал самую возвышенную метафизику и самую благородную мораль на свете. Но куда бы ни проникал буддизм — в орды Непала или в китайский мандаринат, — для толпы он всегда состоял из обрядов, церемоний, благочестивых поступков. Самый известный пример — молитвенная мельница. Вы никогда не видели эту мельницу? Увы, она очень похожа на кофейную. Во всех буддийских странах вы увидите ее на улицах городов и на перекрестках дорог. Набожный человек, проходя мимо, должен два раза крутнуть ручку мельницы, внутри которой лежат написанные на бумаге молитвы; молитвы зашелестят, и верующий тем самым войдет в общение с Буддой, который за этот акт трансцендентной учтивости «будет ему благодарен и умножит его блага».

Ни католичество, ни буддизм не приходят из-за этого в упадок. Наоборот! Они пребывают в нормальном и естественном для религии состоянии. Чем материальней религия, тем она божественней. Не пугайтесь! Я хочу сказать, что чем больше религия освобождается от умозрительных наслоений богословия, морали, гуманизма и т. д., отбрасывая их в присущие им области философии, этики и поэзии, тем непосредственной создает прямое и простое единение людей с их богом. Это единение достигается без всякого труда: достаточно встать на колени и пробормотать «Отче наш», и в награду абсолютный небесный человек идет навстречу преходящему земному человеку. Вот эта-то встреча и есть самое божественное в религии; чем она материальней, тем божественней.

Но вы скажете (и вы действительно это говорите): «Сделаем общение с богом чисто духовным. Не надо никакого литургического спектакля. Пусть дух человека непосредственно

говорит с духом бога». Но для этого нужно, чтобы наступило тысячелетнее царство Мессии и чтобы любой землепок стал философом и мыслителем. Когда наступит это кошмарное царство и на козлах каждой пролетки будет сидеть Мальбранш, Вам придется создать для новой, совершенной породы мужчин новую, совершенную породу женщин, физиологически отличную от той, которая ныне украшает землю. Ибо пока женщина будет оставаться такой, какую в минуту высокого вдохновения создал Иегова из Адамова ребра, то рядом с ней, ради ее убожества, навсегда придется оставить священника, алтарь и статую богоматери.

Мистическое общение человека с богом, к которому вы стремитесь, навеки останется привилегией избранных духа, привилегией немногих. Для толпы же — будь то толпа языческая, христианская, магометанская, дикая или культурная — религия будет всегда иметь одну цель: выпросить у бога милость и отвести его гнев. И материальным средством достижения этой цели всегда будут храмы, священники, алтари, богослужения, облачения, образа. Спросите среднего человека — не философа, не моралиста, не мистика, а человека из толпы, — что значит верить в бога. Англичанин скажет: «Верить в бога — значит, опрятно одевшись, пойти к воскресной службе и петь гимны». Индус скажет: «Верить в бога — значит совершать каждый день «рооџак»<sup>1</sup> и приносить дань Махадеве». Африканец скажет: «Верить в бога — значит приносить Мулунгу положенную порцию муки и мяса». Миньотец скажет: «Верить в бога — значит слушать мессу, перебирать четки, поститься по пятницам, причащаться на пасхе». И все они будут вполне правы, потому что цель их, как людей религиозных, — общение с богом, и все, о чем они говорят, суть способы войти в общение с богом, соответствующие уровню их цивилизации и форме принятых в их обществах литургий. Конечно, для вас и для других избранных религия представляет собой нечто совсем другое — как она была иной для Сократа в Афинах и для Сенеки в Риме. Но человеческие массы не состоят из Сократов и Сенок, к счастью для масс и для тех, кто ими управляет, включая и вас, ибо вы тоже хотите их учить!

Но вы все-таки не унывайте, дорогой друг! Даже у самых простых душ встречаются формы веры в божество, вполне свободные от литургических и обрядовых ритуалов. Один такой акт веры, восхитительно простой и чистый, я наблюдал сам.

---

<sup>1</sup> Поклонение (*санскрит*).

Это было на берегах Замбези. Негритянский военачальник по имени Лубенга накануне объявления войны соседнему вождю пожелал войти в сношение со своим богом, своим Мулунгу, который был, как полагается, его обоготворенным предком. Однако весть или просьба, которую вождь желал сообщить своему божеству, была слишком важной и тайной, чтобы передавать ее через колдунов с их церемониями. Что же делает Лубенга? Он зовет раба, обстоятельно и медленно шепчет ему на ухо свое послание, проверяет, все ли раб понял, все ли запомнил, затем хватает топор, отрубает рабу голову и спокойно возглашает: «Ступай!» Душа раба пошла прямоком на небо, к Мулунгу, наподобие запечатанного письма с маркой; но несколько минут спустя вождь хлопает себя ладонью по лбу, поспешно зовет другого раба, наскоро шепчет ему на ухо еще несколько слов, отсекает ему топором голову от туловища и кричит: «Иди!»

Он забыл какую-то подробность в своем послании к Мулунгу... Второй раб был постскриптумом!

Этот простой способ общения с богом, несомненно, порадует ваше сердце.

Ваш друг

*Фрадики.*

## VI

Рамальо Ортигану.

*Париж, апрель.*

Дорогой Рамальо!

В субботу вечером, проходя по улице Камбон, я вдруг увидел в едущем мимо фиакре нашего Эдуардо; он высовывается через дверцу и кричит: «Рамальо будет здесь сегодня вечером! Проездом в Голландию! В десять, «Кафе де ла Пэ».

Я приятно взволнован и в половине десятого, несмотря на мое законное отвращение к «Кафе де ла Пэ», куда стекается вся накипь международного снобизма, я располагаюсь там с кружкой пива, в ожидании, что сию минуту среди безличной и праздной толпы бульварных фланеров возникнет твой великолепный силуэт. В десять, спеша изо всех сил, с фиакра соскакивает живчик Кармонд: уехал с веселого ужина *voir ce grand Ortigan!*<sup>1</sup> Начинается сиденье вдвоем над двумя

---

<sup>1</sup> Чтобы повидаться с великим Ортиганом! (*франц.*)



кружками пива. Нет нашего Рамальо, не видно его веселой физиономии! В одиннадцать появляется запыхавшийся Эдуардо. Что ж Рамальо? Так и не явился? Сиденье втроем, нетерпеливое ожидание втроем, над тремя кружками пива. И так до тех пор, пока часы не прозвонили, что день кончается.

Но случай вознаградил нас; поучительный случай! Кармонд, Эдуардо и я уже досасывали последние клочья пены, потеряв надежду полюбоваться на Рамальо и его великолепный силуэт, как вдруг мимо нашего столика проходит смуглолицый, худосочный, долговязый субъект; в руке он почтительно, можно сказать, благоговейно, несет огромный букет желтой гвоздики. Оказывается, человек этот заморский, не то из Аргентины, не то из Перу, и к тому же приятель Эдуардо. Тот его останавливает и представляет: «Сеньор Мендибаль». Мендибаль соглашается выпить с нами кружку пива. Я молча созерцаю его узкую, медного оттенка (вернее, цвета английского пробкового шлема) физиономию, как будто высеченную в лезвии топора. Редкая бородка, какая-то нерешительная, похожая на черную вату, чуть темнее, чем лицо, говорит о слабо выраженных мужских качествах; шишковатая голова и убегающий назад, как бы в испуге, лоб; адамово яблоко, напротив, выдается вперед, как нос галеры, торча между отогнутыми уголками воротничка, высокого и блестящего, точно покрытого эмалью. В галстук крупная жемчужина.

Я созерцаю, а Мендибаль говорит. Говорит протяжно, почти стонет, и конечные гласные теряются в этом постанывании. Голос совсем безутешный; но смысл его речей обнаруживает твердое, уверенное и даже бесстыдное удовлетворение жизнью. У этого типа есть все: огромные владения по ту сторону океана, кредит у поставщиков, дом возле парка Монсо и «очаровательная жена». По какому поводу он ухитрился вернуть словцо о своей супруге, украшении его очага? Не знаю, я на минутку отходил поздороваться с одним стариком англичанином: возвращаясь из Оперы, он почувствовал настоятельную необходимость сообщить мне, что ночь замечательная! Когда я вернулся к столу и снова взялся за свою кружку пива, аргентинец был уже в самом разгаре монолога в честь своей жены. Кармонд, наслаждаясь и забавляясь, взирал на человечка смеющимися глазами. Эдуардо слушал с тяжеловесной учтивостью древнего португальца. А Мендибаль, заботливо и почтительно уложив на свободный стул рядом с собой букет гвоздик, расписывал добродетели и прелести мадам. Чувствовалось, что в нем клокочет восторг, который невозможно сдержать,

который брызжет через край и растекается повсюду, даже по столикам кафе: где бы ни находился этот человек, он разливал вокруг свое обожание, — так с намокшего зонта не могут не стекать струйки дождя. Я понял это, когда он гордо, еще сильнее оттопырив адамово яблоко, сообщил, что мадам Мендибаль — француженка. Итак, перед нами было фанатичное влечение смуглокожего человека к фарфоровой прелести парижанки, которая кажется ему такой пикантной и обольстительной. Поняв это, я проникся симпатией к аргентинцу. И он почувствовал мое расположение, потому что повернулся в мою сторону и именно мне адресовал свое последнее, самое убедительное восхваление своей супруги: «Нет, серьезно, другой такой нет! С какой любовью она ухаживает за матерью (его мать), дамой преклонных лет, удрученной болезнями! Сколько терпения, какая деликатность, как услужлива!.. Я готов пасть перед ней на колени! А мамаша в последнее время все ворчит, все ворчит!..»

Мадам Мендибаль даже осунулась. И муж сам уговорил ее поехать на это воскресенье в Версаль: надо же отдохнуть! А там живет экономии ради ее матушка, мадам Жуффруа; сам же он только что с вокзала Сен-Лазар, ездил встречать жену. И представьте, господа, весь день эта святая женщина тревожилась за свекровь; она истосковалась по дому, не могла дождаться, когда вернется в Париж... У мамыши ей было просто скучно! И весь вечер — такая была чудесная погода — она собирала вот этот букет для него, для мужа. Трогательно, правда? Ну кто, кроме француженки, придумает такой милый сюрприз? Кто способен так изящно выразить свою нежность? Благодарение богу, могу сказать, что мне посчастливилось! И если бы у меня были дети, пусть хотя бы только один сын, я бы не променял его на принца Уэльского. Я не знаю, женаты ли вы. Простите за фамильярность. Но если не женаты, то скажу и вам, и всякому: женитесь на француженке, только на француженке!..

Трудно было придумать что-нибудь более смешное и трогательное. Поскольку ты, неуловимый Рамальо, так и не появился, мы разошлись. Мендибаль взял фиакр и влез в него со своим драгоценным букетом. Ночь была теплая, и я поплелся в клуб. В клубе вижу Шамбрэ, ты его знаешь — того самого знаменитого Шамбрэ. Он сидел развалиясь в кресле, сияющий и утомленный. Спрашиваю, как его дела, какого он сегодня мнения о жизни. Шамбрэ отвечает, что жизнь — это сплошной восторг. И тотчас же, не в силах удержаться, рассказы-

вает свой секрет, который так и пляшет в его улыбке и влажных глазах.

Он ездил в Версаль, чтобы повидаться с Фукье. В одном купе с ним ехала дама — *une grande et belle femme*<sup>1</sup>. Стройное тело Дианы в облегающем костюме от Редферна. Невысокий лоб, густые, чудесные волосы, расчесанные на прямой пробор. Серьезные глаза. Бриллиантовые серьги. Существо без претензий и кривлянья, основательное, солидное, хорошо упитанное, окруженное уважением, прекрасно устроенное в жизни.

И при всей этой почтенной устроенности — поминутно, быстро и жадно, облизывает губы кончиком языка. Шамбрэ думает про себя: «Буржуазная дама, тридцать лет, шестьдесят тысяч годового дохода, пылкий темперамент, не удовлетворена супружеством». Едва поезд трогается, он принимает светский вид «неотразимого Шамбрэ» и бросает на даму один из тех взглядов, символом которых в прежние времена были стрелы Амура. Дама не реагирует. Но, несколько минут спустя, Шамбрэ видит поверх развернутого «Фигаро», что прямо на него из-под тяжелых век устремлен испытующий взор, который, подобно лучу диогенова фонаря, ищет среди людей Человека, или, скорее, Мужчину. Поезд подходит к Курбвуа; надо опустить окно, чтобы спастись от пыли. Шамбрэ отваживается на слово, дерзкое в своей робости, относительно парижской жары. Она снисходит до ответа, нерешительного и туманного, о деревенской прохладе. Эклога завязывается. В Сюренне Шамбрэ закуривает и садится рядом с ней. В Севре рука мадам похищается рукой Шамбрэ; рука Шамбрэ отталкивается ею, и незаметно для обоих пальцы их сплетаются. В Вирофле Шамбрэ вдруг предлагает выйти из поезда и совершить прогулку в окрестностях города: он знает здесь буколический уголок несравненной прелести, где не бывает буржуазной публики. В два часа они сядут на следующий версальский поезд. И, не давая даме времени на размышления, он увлекает ее за собой силой внушения или, может быть, просто физиологическим действием своего теплого голоса, веселых глаз, открытой и мужественной физиономии.

И вот они в деревне; пахнет древесной смолой; весна и сатана, сговорясь, веют вокруг дамы теплым дыханием. Шамбрэ знает на опушке леса у озера маленькую таверну с окаймленными жимолостью окнами. Почему бы им не съесть там по

---

<sup>1</sup> Высокая, красивая женщина (*франц.*).

горшочку рагу, запивая его белым сюренским вином? В в самом деле, дама, как выпущенная на волю птичка, чувствует приятный аппетит. Сатана, не теряя времени, бежит вперед, чтобы приготовить закуску в таверне, и, действительно, все там устроено отлично. Их ждет спокойная комнатка и накрытый стол; муслиновая занавеска в глубине скрывает и вместе с тем подчеркивает, что там имеется альков. «Только подавайте скорей, нам нужно успеть на двухчасовой поезд!» — с полной искренностью восклицает Шамбрэ.

Когда подают рагу, Шамбрэ приходит в голову вдохновенная мысль: он снимает сюртук и садится за стол в жилете. В этом есть что-то богемное, что-то озорное; дама восхищена, возбуждена, в ней просыпается куртизанка, всегда дремлющая в душе матроны. Она швыряет на стул свою шляпу, ценой в двести франков, потягивается и восклицает от всего сердца:

— Ah oui, que c'est bon, de se désembêter!<sup>1</sup>

А потом, как говорят испанцы, ¡la mar!<sup>2</sup> Солнце, прощаясь вечером с землей, оставило их все еще в Вирофле, все еще в таверне, все еще в комнате, вторично за столом, над тарелкой с питательным бифштексом, как того требовали обстоятельства, в полном ладу с резонансом и логикой.

Версаль забыт! Надо спешить на станцию, чтобы поспеть на последний поезд в Париж. Она медленно завязывает ленты на шляпке, срывает цветок жимолости и прикалывает к корсажу, потом обводит медленным взором комнату и альков, чтобы все запомнить и запечатлеть в памяти, — и они уезжают. Шамбрэ садится в другое купе (надо же подумать о том, что произойдет по прибытии в Париж) и, торопливо, небрежно пожимая ей руку, умоляет сказать, по крайней мере, свое имя. Она шепчет — Люси.

— И вот все, что я о ней знаю, — заключил Шамбрэ, раскуривая сигару. — Мне известно также, что она замужем, потому что на вокзале Сен-Лазар ее ожидал, в сопровождении важного выездного лакея, какие бывают в буржуазных домах, муж. Это *gastácuero*<sup>3</sup> шоколадного цвета, с редкой бородкой и громадной жемчужиной в галстук... Бедняга, он был очарован, когда она вручила ему букет желтых гвоздик, который я заказал для нее в Вирофле... Восхитительная женщина. Нет, с французенкой никто не сравнится!

---

<sup>1</sup> Ах, право, как хорошо иногда встряхнуться! (*франц.*)

<sup>2</sup> Здесь: полное раздолье! (*исп.*)

<sup>3</sup> Богатый американец (*исп.*).

Что скажешь об этих глубокомысленных вещах, друг Рамальо? Я могу сказать лишь, в виде вывода, что этот мир прекрасен и другого, более благоустроенного, нет во всем мировом пространстве. Потому что, заметь, в это майское воскресенье три симпатичные существа получили положительный выигрыш в жизни из-за одной простой поездки в Версаль. Шамбрэ испытал громадное удовольствие и потешил свое тщеславие — два единственные блага, ради которых, как он считает, стоит жить на свете. Мадам узнала новое или, во всяком случае, дотоле не испытанное в полной мере ощущение; оно дало разрядку ее нервам, освежило ее, успокоило, и теперь она может вернуться к своему скучноватому очагу, чтобы печься о нем с удвоенной энергией. А аргентинец приобрел новое неопровержимое доказательство того, что он любим и счастлив. Трое счастливцев после одной загородной прогулки. И если в результате родится сын (о чем так мечтает аргентинец) и унаследует блистательные галльские качества Шамбрэ, то к личной радости всех троих прибавится и прямая польза обществу. Следовательно, этот мир устроен превосходно.

Верный друг, с нетерпением ждущий встречи с тобой на обратном пути из Голландии.

*Фрадики.*

## VII

Госпоже де Жуар.  
(С франц.)

*Лиссабон, март.*

Милая крестная!

Вчера в поезде, когда я подъезжал глубокой ночью к Лиссабону (куда мы прибыли с севера, из Порто), сердце мое вдруг замерло от испуга: я вспомнил, что дал вам клятву! В великую субботу, в Париже, я легкомысленно поклялся, возложив руку на ваше чудесное издание «Обязанностей» Цицерона, что буду отправлять вам еженедельно по почте «Португалию в описаниях, заметках, размышлениях и картинах» — как сказано в подзаголовке «Путешествия по Швейцарии» вашего приятеля барона Фернэ, командора Карла III и члена Тулузской Академии. Клятвы, данные над «Обязанностями» Цицерона той, кто царит над моим сердцем, я должен исполнять неуклонно, и потому, едва вспомнив про свою клятву, я тотчас же открыл пошире оба глаза, чтобы начать собрание

«заметок, размышлений, видов и картин» этой земли, которая является моей родиной у *está á la disposición de usted*<sup>1</sup>.

Мы как раз подъезжали к станции под названием Сакавен, и сквозь мокрые от дождя стекла мои широко открытые глаза ничего не увидели в родной стороне, кроме густого тумана и мелькавших вдали тусклых огоньков. Это были фонари фелуг, спящих на реке; они могли служить обидным символом тех скудных крох положительной истины, какие человеку дано открыть во мраке Бытия. Я смирился и поскорее снова закрыл глаза — но в дверях появился железнодорожник в фуражке с кокардой и в промокшем мундире и потребовал мой билет, величая меня «Ваше превосходительство». В Португалии мы все вельможи, дорогая крестная, все составляем часть государства и потому зовем друг друга «превосходительствами».

Мы прибыли в Лиссабон. Шел дождь. Пассажиров в поезде было немного, может быть, человек тридцать, — все люди простые, с легкими чемоданами и холщовыми мешками. Они очень быстро прошли патриархальный и сонный таможенный досмотр и тотчас же рассеялись по улицам, под покровом сырой мартовской ночи.

В полутемном вокзале, в ожидании крупного багажа, остались только мы со Смитом<sup>2</sup> и сухопарая дама в старом меховом салопе и с очками на остром носу. Было около двух часов ночи. Ноги стыли на грязном асфальтовом полу вокзала.

Не знаю, сколько прошло веков. Смит стоял неподвижно; дама и я, чтобы согреться, ходили вдоль деревянного прилавка, за которым два таможенника, темнокожие, как маслины, с достоинством зевали. Наконец, из дальней двери медлительно вкатилась тележка, на которой покачивалась гора нашего багажа. Остроносая дама тотчас же узнала свой обитый жестью баул; крышку его откинули, и моему наблюдательному взору (который тоже всегда к вашим услугам, о, требовательная крестная!) открылся не первой свежести пеньюар, коробка конфет, молитвенник и двое щипцов для завивки волос. Сторож погрузил руку в эти интимные предметы, затем снисходительно объявил, что таможня удовлетворена. Дама скрылась.

Мы со Смитом остались одни. Смит кое-как разыскал в горе багажа мои вещи. Но по непонятной причине не хватало одного кожаного саквояжа. Носильщик, держа перед собой

---

<sup>1</sup> И всегда к вашим услугам (*исп.*).

<sup>2</sup> Старый камердинер Фрадики Мендеса. (*Прим. автора.*)

квитанцию, предпринял неторопливый розыск среди бочек, тюков, пакетов, баулов, сваленных кучей у стены. Я видел, как этот достойный человек задумчиво постоял около тюка, зашитого в парусину, около деревянного сундука... Может быть, тот или другой и есть кожаный саквояж? Потом, отчаявшись, заявил, что среди наших вещей не было никакого кожаного саквояжа. Смит заспорил, начиная сердиться. Тогда начальник багажного отделения выхватил квитанцию из нерасторопных рук носильщика и, как лицо более сведущее, сам начал поиск, методически осматривая ящики, лохани, бочки, корзины, бутылки, жестянки и картонки... Наконец он пожал плечами с невыразимым отвращением и исчез в темноте внутренних платформ. Через некоторое время он вернулся, почесывая голову под фуражкой и шаря глазами по пустому полу, видимо, в надежде, что саквояж сам выскочит из недр нашего злополучного земного шара. Ничего! Терпение мое лопнуло, и я тоже начал с ожесточением обыскивать помещение. Таможенный сторож, с папирсой, прилипшей к губе (предобродушный человек!), бросал на меня время от времени покровительственный, подбадривающий взгляд. Ничего! Вдруг какая-то женщина с красным платочком на голове, зачем-то бродившая тут в этот холодный предрасветный час, сказала, ткнув пальцем в сторону наружной платформ:

— А это не он ли будет?

Он! Это был он, мой саквояж! Он стоял на перроне, под дождем. Я не стал допытываться, каким образом он очутился там один-одинешенек, отдельно от прочего багажа, с которым его неразрывно связывал порядковый номер, проставленный на бирке жирными цифрами, и потребовал экипаж. Носильщик накинул куртку на голову, вышел на площадь и скоро вернулся, меланхолически докладывая, что экипажей нет.

— Как так нет? Вот это прекрасно! Как же уезжают с вокзала пассажиры?

Он пожал плечами. Когда есть извозчики, когда нет. Кому как повезет... Я блеснул монетой в пять тостанов и взмолился к этому славному человеку, чтобы он обошел окрестности вокзала и поискал какое-нибудь средство передвижения на колесах — пролетку, карету, телегу — которое доставило бы меня под кров, где есть чашка бульона и огонь в камине. Он ушел, ворча. А я, оскорбленный в своих лучших патриотических чувствах, повернулся к начальнику багажного отделения и таможеннику и стал сетовать на непорядки в их учреждении. На

всех вокзалах земного шара, даже в Тунисе, даже в Румынии, к прибытию поездов всегда подаются конки, коляски, тележки, чтобы перевозить людей и их багаж... Почему же этого нет в Лиссабоне? Отвратительное обслуживание! Оно позорит отечество!

Таможенник изобразил на своем лице унылое бессилие, как бы соглашаясь, что обслуживание и правда отвратительное, и вообще все отечество — сплошной беспорядок. Потом утешился, с наслаждением затянувшись папироской. Медленно проползли четверть часа — из тех, что оставляют морщины на лице человека.

Наконец носильщик вернулся, отряхиваясь от дождя, и сказал, что во всем квартале Санта-Аполлония нет ни одного извозчика.

— Но что же мне делать? Не оставаться же здесь?

Начальник посоветовал оставить багаж на вокзале, а на следующее утро заказать пролетку (можно сделать письменный заказ) и забрать вещи «к полному моему удовольствию». Но разлука с багажом никак меня не устраивала. В таком случае, он не видит выхода; разве только какая-нибудь запоздавшая или заблудившаяся коляска проедет в этих местах.

Тогда, подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, выброшенным на необитаемый остров где-нибудь в Тихом океане, мы столпились у дверей станции, высматривая, не покажется ли в тумане парус, то бишь козлы пролетки. Горькое ожидание, бесплодное ожидание! Ни света фонарей, ни стука колес... Ничто не нарушало однообразия окружающей пустыни. Начальник, которому все это осточертело, решительно осточертело, заявил, что «скоро три часа ночи, и он должен записать помещение». А я? Останусь ненастной ночью на улице, прикованный к громоздкому багажу? Нет. Несомненно, достойный начальник в глубине души не так жестокосерд! Начальник смягчился и предложил другой исход. Состоял он в том, чтобы мы со Смитом и с носильщиком взвалили багаж к себе на спину и пошли бы в гостиницу пешком. Видимо, это был, действительно, единственный путь избавления от постигшей нас беды. Однако спина, изнеженная долгими годами цивилизации, боится тяжелой ноши; те, к кому судьба всегда благоволила, нелегко отказываются от надежды; мы со Смитом еще раз вышли на улицу и в молчании, сверля глазами темноту и склонив ухо к мостовой, прислушивались, не катится ли где-нибудь долгожданная пролетка, ниспосланная провидением. Ничего,



решительно ничего! Ни звука в скупой темноте. Дорогая крестная, я чувствую, что на ваших ресницах уже повисли слезы сострадания. Я не плакал, но мне было стыдно, бесконечно стыдно перед Смитом! Что подумает шотландец о моей расхлябанной родине, да и обо мне, частице этой неблагоустроенной родины? Нет ничего более хрупкого, чем репутация страны. Не случилось ночью извозчика, и вот уже в глазах иностранца дискредитирована многовековая цивилизация!

Между тем начальник внутренне кипел. Три часа ночи! Даже четверть четвертого! Он должен запереть станцию! Что было делать? Мы со вздохом смирились. Я схватил саквояж и портплед; Смит вскинул на свои почтенные, незнакомые с тяжестью плечи увесистый кожаный чемодан; носильщик закричал под бременем сундука с медными скобами. И, оставив еще два пакета до завтра, мы потащились гуськом в отель «Браганса»! Пройдя несколько шагов, я поднял портплед на плечо, потому что он немилосердно оттягивал мне руку... И все трое, понуриив голову и сгорбив спину под тяжестью десятков кило, ощущая близкое разлитие желчи, мы медленной, угрюмой колонной стали продвигаться в глубь столицы Португальского королевства. Я приехал в Лиссабон с намерением отдохнуть и пожить с комфортом. Вот тебе и отдых, вот тебе и комфорт! Работать за грузчика под моросящим дождем, пыхтя, обливаясь потом, спотыкаясь на плохо вымощенной улице!..

Не знаю, сколько столетий тянулся этот скорбный путь. Знаю только, что вдруг (как будто ее притащил под уздцы наш ангел-хранитель) из темного переулочка выползла пролетка, настоящая, реальная пролетка. Три отчаянных вопля остановили ее. Один за другим в коляску и под ноги кучеру полетели чемоданы; захваченный врасплох, возница с перепугу замахнулся кнутом и разразился бранью. Но тотчас успокоился, осознав свою беспредельную власть над нами, и объявил, что в отель «Браганса» (расстояние, примерно равное длине Елисейских полей) он дешевле чем за 3000 рейсов не повезет. Да, крестная, восемнадцать франков! Восемнадцать франков звонкой монетой, серебром или золотом, за полверсты — и это в наш демократический, промышленный век, после стольких тягостных усилий наук и революций сделать дешевыми и общедоступными общественные блага! Я задрожал от гнева, но покорился (как покоряются под дулом мушкета) и влез в коляску, прочувствованно распрощавшись с носильщиком, верным товарищем наших ночных бедствий.

Через несколько минут мы подскакали к отелю яростным галопом и стали ломиться в дверь, оглашая улицу криками, звонками, стуком, мольбами, проклятиями, воплями — словом, всеми видами насилия и увещания. Напрасно! Отель был неприступен, как золотые ворота замка Фортуны, куда стучался прекрасный рыцарь Парцифаль! Тогда кучер стал пинать дверь ногами. Это подействовало: уstraшенная дверь медленно повернулась на своих петлях. Хвала тебе, боже, отец мой многомилостивый! Наконец-то мы под кровом, на лоне прогресса, среди ковров и штукатурки. Блуждания по первобытной пустыне позади. Осталось заплатить кучеру. Я повернулся к нему и сказал с едкой иронией:

— Итак, три тысячи рейсов?

При свете фонарей в подъезде он увидел мое лицо и улыбнулся. И что же ответил мне этот бесподобный пройдоха?

— Это ж только так, для красного словца... Я было не признал сеньора дона Фрадики... С сеньора дона Фрадики мы берем, сколько они сами изволят приказать...

Ни с чем не сравнимое слабодушие! Я почувствовал, что глупое умиление размягчает мне сердце. Мягкотелость, распушенность, безволие — вот что опутывает всех нас, португальцев, внушает нам преступное попустительство, губит всякую дисциплину и всякий порядок. Да, милая крестная! Мошенник знал сеньора дона Фрадику. Он улыбался заискивающе и плутовато. Мы оба были португальцы. Я дал фунт этому разбойнику!

Вот Вам, для Вашего сведения, правдивое описание того, как в последней четверти XIX века въезжают в главный город Португалии. Весь Ваш, неизменно тоскующий в разлуке

*Фрадики Мендес.*

## VIII

Господину Э. Моллинэ,  
Главному редактору Историко-биографического  
обозрения.

*Париж, сентябрь.*

Дорогой г. Моллинэ!

Вчера вечером, вернувшись из Фонтенебло, я нашел Ваше письмо, где Вы, мой ученый друг, от имени и в интересах «Историко-биографического обозрения» спрашиваете, что за человек мой соотечественник Пашеко (Жозе Жоакин Алвес Па-

шеко), чью смерть так горько и пространно оплакивают португальские газеты. И еще Вы желаете знать, какие труды, или дела, или книги, или мысли, или какое приращение португальской цивилизации оставил после себя Пашеко, раз его проводили в последний путь такими громкими и почтительными рыданиями.

Я случайно был знаком с Пашеко. Его личность и его жизнь стоят передо мной как на картине. Пашеко не дал своей стране ни трудов, ни дел, ни книг, ни мыслей. Пашеко был велик и знаменит между нами единственно потому, что обладал *громadным талантом*. И тем не менее, дорогой мой Моллинэ, этот талант, о котором столь громко трубили два поколения, так и не обнаружился в действенной, видимой и осязаемой чувствами форме. Громadный талант Пашеко остался скрытым в недрах Пашеко... Всю жизнь он пребывал на социальных высотах: депутат, генеральный директор, министр, управляющий банками, статский советник, пэр, председатель совета министров! Пашеко был всем этим, он все имел, а страна созерцала его снизу, пораженная громадностью его таланта. Но, занимая все эти должности, Пашеко ни разу — ни для пользы государства, ни ради собственной выгоды — не встретил необходимости проявить, утвердить и дать выход вовне громадному таланту, распиравшему его изнутри. Когда друзья, партии, газеты, правительственные учреждения, общественные организации — словом, вся страна, — вздыхали вокруг Пашеко; «Какой огромный талант!» — и побуждали его еще больше увеличивать свою власть и состояние, Пашеко только улыбался, опустив долу серьезные глаза под золотыми очками, и продолжал свой путь к вершинам, по ступеням государственной власти, а его громадный талант по-прежнему был заперт на семь замков в его черепе, как в сундуке скупца. И эта сдержанность, эта улыбка, это поблескивание очков вполне удовлетворяли нацию, ибо через эти внешние знаки она радостно постигала блистательную очевидность таланта.

Талант этот родился в Коимбре, на лекции по естественно-му праву, в то утро, когда Пашеко, презрев учебные конспекты, заявил, что «девятнадцатый век — век прогресса и просвещения». Весь курс сразу понял, что Пашеко — на редкость одаренный малый; вскоре об этом начали говорить в кофейнях на Ярмарочной площади, и возраставшее с каждым днем восхищение однокурсников передалось, подобно всем религиозным движениям, от впечатлительных к рассудительным, от студентов к профессорам, и в конце года Пашеко без труда получил на-

граду. Тогда слава о его таланте распространилась по всему университету, и при виде Пашеко, всегда задумчивого, носившего очки, степенно шагавшего с пухлыми томами юридических книг под мышкой, все видели, что перед ними светильник разума, который на глазах растет и крепнет, движимый внутренней пружиной. Этот выпуск студентов, рассеявшись по стране, разнес повсюду, вплоть до самых глухих углов, весть о громадном даровании Пашеко. И вскоре в полутемных аптеках Трас-ос-Монтес, в шумных цирюльнях Алгарве завсегдагаи говорили с почтением и надеждой: «Слыхали? Недавно из университета вышел юноша с громадным талантом, по имени Пашеко».

Пашеко созрел для национального представительства. Он очутился в рядах депутатов по призыву уже не помню какого кабинета, которому удалось путем ловких маневров и затраты средств заполучить себе талант Пашеко. И вот уже в Лиссабоне, в звездный декабрьский вечер, когда он появился у Мартиньо, чтобы выпить чаю с сухариками, по всем столикам пронесся шепот заинтересованной публики: «Это Пашеко, молодой человек с большим талантом!..» Как только собрался парламент, взоры правительства и оппозиции стали все настойчивей и упорней обращаться к Пашеко. Он же, на своем конце скамьи, по-прежнему сохранял вид ушедшего в себя мыслителя и сидел, скрестив руки на бархатном жилете и склонив голову несколько набок, словно под бременем внутренних богатств, и поблескивал очками... Наконец, однажды вечером, при обсуждении ответа на тронную речь, Пашеко сделал некий неопределенный жест: по-видимому, он хотел остановить одного кривоглазого священника, произносившего речь о свободе. Священнослужитель тотчас же почтительно умолк; стенографисты напрягли слух. Депутаты перестали шептаться, чтобы в приличной и торжественной тишине мог впервые проявить себя громадный талант Пашеко. Но Пашеко не стал расточать свои сокровища. Подняв палец (его любимый жест), он сказал твердо и убежденно, что «рядом со свободой всегда должна существовать власть»! Это было, конечно, немного; но палата сразу поняла, что в этом кратком резюме содержался целый огромный мир глубоких мыслей. После этого Пашеко несколько месяцев ничего не говорил, но талант его внушал тем больше уважения, чем незримей и недоступней он таился внутри, в глубинах его существа. У почитателей его таланта (а их у него было уже великое множество) оставался один-единственный исход: со-

зерцать чело Пашеко, как смотрят на небо, веруя, что там есть бог, который все видит. Чело Пашеко являло собой обширную, шишковатую и блестящую поверхность. Не раз статские советники и генеральные директора восхищенно бормотали, глядя на него: «Больше ничего и не надо! Достаточно посмотреть на этот лоб!»

Пашеко вскоре вошел во все главные комиссии парламента. Однако он ни за что не соглашался хотя бы один раз доложить какой-нибудь законопроект: дело в том, что он презирал специализацию. Лишь изредка он медленно и молча делал пометку у себя в книжке. А если он иногда выходил из глубокой сосредоточенности, то лишь для того, чтобы поднять палец и бросить какую-нибудь общую мысль о порядке, прогрессе, частной инициативе и экономии. И было видно, что это вполне оправданная тактика крупного таланта, который (как намекали его друзья, многозначительно помаргивая глазами) «пока еще витает там, в высших сферах духа». Пашеко и сам, впрочем, говаривал, изображая своей толстой рукой полет птиц над лесными кронами, что «истинный талант должен видеть мир обобщенно».

Этот громадный талант не мог дольше оставаться в стороне от Коронного совета. После одного из правительственных кризисов (вызванного историей о воровстве) Пашеко получил министерский портфель, и тотчас же стало видно, какую надежную опору власти дал его громадный талант. В своем министерстве (морском) он много месяцев «абсолютно ничего не делал» (как инсинуировали три или четыре озлобленных узкопрактических ума). Но впервые за все время существования нынешнего режима нация перестала трепетать за нашу колониальную империю. Почему? А потому, что она чувствовала: высшие интересы заморских территорий доверены выдающемуся таланту Пашеко.

Занимая министерское кресло, Пашеко очень редко выходил из своего полного молчания. Но когда оппозиция вела себя слишком шумно, Пашеко протягивал руку и медленно делал заметку карандашом в своей книжечке: и этот жест, полный глубокого смысла и говоривший об осведомленности, сразу смущал и озадачивал оппозицию. Громадный талант Пашеко уже внушал членам парламентских комиссий и комитетов трепет и страх. Горе тому, над кем он разразится карающей грозой! Дерзкий будет опозорен навеки и безвозвратно. Это испытал на себе один педагог, однажды осмелившийся обвинить господина министра внутренних дел (а министром внутренних дел

в это время был как раз Пашеко) в том, что он пренебрегает народным просвещением!

Никакое обвинение не могло бы чувствительнее задеть этот огромный ум, которому принадлежит лаконичное изречение: «Страна без лицеев — несовершенная страна!» Подняв палец (по-прежнему столь свойственный ему жест), Пашеко сокрушил дерзкого учителя следующими словами: «Я могу сказать уважаемому депутату, который меня порицает, лишь одно: пока вы на ваших скамьях попусту галдите, я с этого кресла распространяю просвещение!» Я был свидетелем этого незабываемого момента, находясь на галерее. Не запомню, чтобы мне когда-либо приходилось слышать столь бурную и пламенную овацию! Если не ошибаюсь, через несколько дней после этого события Пашеко получил большой крест святого Иакова.

Громадный талант Пашеко постепенно становился национальным символом веры. Видя, какую непоколебимую опору он дает всем учреждениям, которым служит, все жаждали залучить Пашеко в свои ряды. Он сделался универсальным директором всех компаний и всех банков. Корона нуждалась в нем, и он вошел в государственный совет. Его партия настойчиво требовала, чтобы ее возглавил Пашеко. Но и другие партии то и дело смиренно обращались за помощью к его таланту. В Пашеко мало-помалу сконцентрировалась вся нация.

По мере того, как он старел, становился все влиятельней и сановней, преклонение перед его талантом приняло в стране формы, свойственные только религии и любви. Когда он стал председателем кабинета министров, его почитатели благоговейно бормотали, прижимая руку к груди и закатывая глаза: «Какой талант!» Другие же, зажмуривая глаза и целуя кончики пальцев, томно шептали: «Ах, что за талант!» К чему скрывать? Были и такие, что злобились на Пашеко и утверждали, будто ему воздаются несообразные, явно преувеличенные почести. Я сам слышал, как они кричали, колотя по полу ногами: «Тьфу пропасть, вот уж истинно не зарыл в землю свой талант!» Но Пашеко к тому времени уже и вовсе не говорил. Он только улыбался. А лоб его становился все обширней и обширней.

Не стану напоминать вам все ступени его удивительной карьеры. Достаточно, если Вы, дорогой Моллинэ, просмотрите наши анналы. На всех начинаниях, реформах, трудах и сооружениях вы обнаружите печать Пашеко. Он был всем, он имел все. Действительно, громадный был талант! Но еще громад-

ней была признательность отечества! Пашеко и Португалия, в конечном счете, были невозможны друг без друга. Без Португалии Пашеко не был бы тем, чем он стал среди людей; но и Португалия без Пашеко не была бы тем, чем она стала среди наций!

Старость его была величава. Он совершенно облысел. Голова его превратилась в одно сплошное чело. И его редкий талант — даже в мелочах — начал обнаруживаться чаще, чем прежде. Я очень хорошо припоминаю один вечер (Пашеко был тогда председателем кабинета министров): в гостиной у графини Арродес кто-то начал добиваться, какого мнения его превосходительство о Кановасе дель Кастильо. С молчаливой, величественной, чуть заметной улыбкой его превосходительство сделал рукой горизонтальный жест. Вокруг разнесся долгий ропот восхищения. Сколько тонких оттенков, сколько продуманных оценок в одном этом жесте! Что касается меня, то после долгих размышлений я истолковал его так: «Посредственность, полная заурядность, этот ваш сеньор Кановас!» Заметьте, дорогой Моллинэ, насколько тонок этот талант при всей своей громадности!

Пашеко отправился на тот свет... то есть, я хочу сказать, его превосходительство скончался почти неожиданно, без страданий, в начале этой суровой зимы. Ему как раз собирались дать титул маркиза де Пашеко. Вся нация о нем скорбела. Он покоится на кладбище Сан-Жоан под мавзолеем, на котором по замыслу советника Акасио (изложенному в письме к редактору «Текущих новостей») высечена фигура Португалии, оплакивающей Гения.

Несколько месяцев спустя после смерти Пашеко я встретил в Синтре, у доктора Видейры, вдову покойного. Как утверждают друзья, это женщина редкого ума и доброты. Исполняя долг патриота, я выразил соболезнование именитой и любезной даме по поводу непоправимой потери, которую понесла наша родина. И когда я с волнением упомянул о громадном таланте покойного, вдова его с глубоким удивлением подняла на меня опущенные до того глаза, и беглая, печальная, почти сострадательная улыбка приподняла уголки ее бледных губ... Вечный разлад человеческих сердец! Эта заурядная дама, как видно, не сумела оценить выдающийся талант своего супруга!

Весь Ваш, всегда готовый служить

*Фрадики.*

Кларе ...  
(С франц.)

*Париж, июнь.*

Обожаемый друг!

Нет, не в марте и не на выставке акварелей встретился я с Вами впервые, по воле судеб. Это случилось зимой, обожаемый друг, на балу у Трессанов. Там я увидел Вас. Вы разговаривали с госпожой де Жуар, сидя перед консолью, и свет канделябров, скрытых среди орхидей, освещал Ваши волосы золотым нимбом, как и подобает царице красоты. Я благоговейно храню в памяти Вашу усталую улыбку, черное платье, отделанное золотистыми бутонами, старинный веер, сложенный на коленях. Я прошел мимо; но все вокруг показалось мне непоправимо скучным и безобразным. Я вернулся, чтобы молча любоваться, молча постигать, потому что, помимо всем видимой, доступной любому взору красоты, было в Вас еще что-то невыразимое словами, тонкое, одухотворенное, грустное в нежное, что исходило из души. И я так глубоко ушел в это созерцание, что унес в себе Ваш образ, весь без изъятия, не забыв ни одной пряди Ваших волос, ни одной складки одевавшего Вас шелка. С ним я убежал домой, взволнованный, как художник, который нашел в темной лавчонке, среди пыли и черепков, творение великого мастера.

И к чему скрывать? В первое время этот образ был для меня просто картиной, как бы висевшей перед моим внутренним взором: я поминутно, с удовольствием взглядывал на нее, но только для того, чтобы еще раз изумиться прелестью линий и красок. Это было редкостное полотно, какие хранят в святых-лицах, недвижимое и немое в своем великолепии; прекрасная форма, пленившая воспитанный вкус. Душа моя еще сохраняла свою свободу, по-прежнему прельщаясь всем, что ее влекло, открытая чувствам, которые волновали ее и раньше. Но, устав от всего несовершенного, ища иных, более высоких помыслов, я возвращался к жившему во мне образу: так фра Анджелико в своей келье, сложив вечером кисти, становился на колени перед мадонной и просил об успокоении и вдохновении свыше.

Но мало-помалу все, кроме этого образа, потеряло для меня цену и прелесть. Я все больше уединялся со своей душой, в глубине которой сиял Ваш лик; я так глубоко погрузился в его созерцание, что оно стало для меня единственным достойным делом в жизни. Остальное казалось мне обманчивой види-



мостью; я уподобился затворнику-монаху, которому чужд мир реальных вещей, который стоит на коленях, не шевелясь, весь во власти своего видения, своей единственной подлинной реальности.

Но поклонение мое Вам, обожаемый друг, не было мертвенным, пассивным самозабвением. Нет! Сначала я неустанно, пристально изучал прекрасный образ, старался через форму познать сущность. Ведь красота есть отражение истины; в совершенстве Вашего тела я искал и находил красоту вашей души. Так я постепенно расшифровывал Вашу тайну: этот открытый лоб, такой чистый и ясный, явственно говорит о душевной прямоте; эта улыбка, в которой столько благородства и ума, обнаруживает презрение к суетному, к преходящему, любовь к правде и красоте; каждый грациозный жест выдает изящество вкуса, а в глазах я различал то, что смешивается в них так прелестно: свет разума и сердечное тепло, — луч, который греет, тепло, которое освещает... Стольких совершенств уже достаточно, чтобы согнуть самые непокорные колени. Но по мере того как я Вас узнавал и сущность Ваша открывалась мне так очевидно, так осязаемо, я почувствовал, что от Вас исходит влияние, влияние странное, не сравнимое ни с каким иным; и оно властно подчиняло меня. Как это объяснить? Я был монах, замкнувшийся в келье своей души, и я стремился к святости, чтобы стать достойным святой, которой отдал свою веру, и заслужить право жить для нее. Я подверг свою совесть суровой проверке. Я с тревогой допрашивал себя, так же ли чиста моя мысль, как Ваша, нет ли в моих вкусах промахов, оскорбительных для Вашего строжайшего вкуса; так же ли возвышенны и серьезны мои помыслы, мое отношение к жизни, как те, что я угадывал в Вашем одухотворенном взоре, в Вашей тихой улыбке; не слишком ли много растратило мое сердце, чтобы биться около Вашего с той же силой? И я страстно стремился достичь совершенства, равного тому, которое я так преданно обожаю в Вас.

Так, неведомо для себя, дорогой друг, Вы стали моей наставницей. Я уже не могу обойтись без Вашего руководства, им направляется и облагораживается всякое движение моей души. Я твердо знаю, что, если есть ныне что-то ценное во мне — мысль или чувство, — оно порождено воздействием на меня Вашей души, которая ведет меня за собой, издали, одним тем, что существует и разгадана. И если это влияние (я мог бы сказать, как аскет: эта благодать!) вдруг покинет меня, я паду низко и без возврата. Судите сами, как Вы мне нужны и как драгоцен-

ны... Это спасительное действие Вы оказываете, даже не прикоснувшись рукой к моей руке. Достаточно мне было увидеть Вас на праздничном вечере, в блеске красоты. Так дикий куст цветет на краю обрыва, потому что наверху, в высоких небесах, сияет огромное солнце, которое не видит его, не знает, но великодушно дарит ему силу расти, расцветать и изливать свой недолгий аромат... Поэтому любовь моя невыразима словами и безымянна: она подобна любви, какую растение питало бы к солнцу, если бы умело чувствовать.

И вот еще что: нуждаясь в Вас, как в свете солнца, я ни о чем не прошу, не вымаливаю для себя никакого блага, хотя Вы так много можете, хотя Вы для меня владычица всякого блага. Я только прошу позволения жить под этими лучами, которые исходят от Вас и так легко и нежно творят дело моего совершенствования. Только этого милосердного дара я и прошу. Судите же, в каком смиренном, туманном отдалении я держусь, как боюсь, чтобы даже шепот моих молитв не коснулся одежды далекого божества...

Но если Вы, дорогой друг, уверившись в полном моем отречении от мысли о всякой земной награде, позволите когда-нибудь излить Вам наедине мою взволнованную душу, Вы совершите акт несказанной милости; так дева Мария, желая ободрить отшельников и затворников, сходила к ним с облаков, чтобы подарить мимолетной улыбкой или уронить в протянутые к ней руки райскую розу. Завтра вечером я буду у госпожи де Жуар. Там нет той святости, какая разлита в келье монаха или ските отшельника, но почти так же уединенно. И если Вы, дорогой друг, появитесь у моей крестной в сиянии красоты и подарите мне даже не розу, а только улыбку, я увижу в этом радостное подтверждение того, что моя любовь — или то невыразимое, безымянное чувство, которое простирается дальше любви, — находит в Вас жалость и право на надежду.

*Фрадики.*

## X

Госпоже де Жуар.  
(С франц.)

*Лиссабон, июнь.*

Добрейшая крестная!

Сейчас Вы узнаете, что «видел и делал» в течение мая и июня в *Ulyssipo pulcherrima* (прекраснейшем Лиссабоне) ваш выдающийся крестник. Я нашел здесь одного земляка и даже

родственника с Островов. Он живет уже три года на четвертом этаже в семейном пансионе на Соломенной улице и создает философскую систему. Это человек с умом свободным, предприимчивым и гибким, любитель широких обобщений. Зовут его Прокопио. Он убедился, что женщина не стоит причиняемых ею мучений и что восьмисот рейсов дохода с оливковых плантаций вполне достаточно для философа-спиритуалиста, и потому посвящает свою жизнь Логике, интересуется только Истиной и ни о чем другом не помышляет. Это веселый философ; он беседует без горячности и всегда может предложить прекрасную мускатную водку. Я охотно взбираюсь два-три раза в неделю в его метафизический кабинет, чтобы узнать, сподобился ли он уже под благодушным руководством Мена де Бирана, своего гида по стране Бесконечного, узреть Причину причин, готовую сбросить с себя последние покровы тайны. Во время этих благостных визитов я постепенно познакомился с другими обитателями пансиона на Соломенной улице, где они вкушают прелести городской жизни за двенадцать тостанов в день без вина и стирки. Здесь представлены почти все разновидности португальского среднего класса, и я имею возможность без труда, как по указателю, изучать чувства и мысли, которые в текущем году по рождестве Христовом составляют нравственную основу моей нации.

Этот меблированный дом имеет много приятного. В комнате кузена Прокопио лежит новая циновка; там имеется железная кровать философически целомудренного вида, яркие муслиновые занавески на окнах, розы и птицы на обоях. Комната содержит в строгой опрятности служанкой, какие роятся на свет в одной только Португалии. Это красивая деревенская девушка из Траз-ос-Монтес; медлительно и величаво, как латинская нимфа, она ходит туда и сюда, шаркая шлепанцами, чистит и убирает весь этаж, подает девять завтраков, девять обедов, девять полдников, моет посуду, пришивает к брюкам и кальсонам пуговицы, ибо португальцы имеют обыкновение их терять, крахмалит хозяйкины нижние юбки, молится по четкам, как принято у них в деревне, и еще находит силы любить без ума соседнего парикмахера, который обещает жениться на ней, как только получит место в таможне, — и все это за три тысячи рейсов жалованья. На завтрак подаются два блюда, оба питательные и сытные: яйца и бифштекс. Вино поставляет крестьянин-виноградарь — это молодое, легкое винцо, изготовленное по почтенным рецептам «Георгик» и, вероятно, похожее на вина Ретии — *quo te carmine dicam, Rethica?* Подсушенные на

сильном огне ломтики хлеба — восхитительны. Столовую украшают четыре картины: портрет Фонтеса (покойного государственного мужа, чтимого португальцами), папы Пия IX, с улыбкой благословляющего народ, вид равнины Коларес и две девицы, целующие голубку,— все это наводит на здравые и полезные обществу мысли об общественном порядке, вере, сельской тишине и невинности.

Хозяйка пансиона, дона Паулина Сориана, уже перевалила за свою сороковую осень. Это дама полная, белолица, приятная и свежая, как ее пеньюар, который она носит поверх юбки из лилового шелка. Судя по всему, это женщина превосходная, терпеливая, благожелательная, преисполненная здравого смысла и разумной бережливости. Она вдова (если не понимать это слово в слишком строгом смысле) и имеет довольно толстого сына, который учится в лицее и грызет ногти. Зовут его Жоакин, а ласкательно — Кинзиньо. Этой весной Кинзиньо хворал каким-то злым недугом и потому без конца пил оршады и принимал ванны. Дона Паулина хочет определить его в чиновники, так как считает, и не без основания, что эта деятельность самая легкая и надежная.

— Для молодого человека важнее всего, — рассуждала она на днях после завтрака, положив ногу на ногу, — найти покровителей и пристроиться на хорошее место; тогда его жизнь пойдет как по маслу: служба нетрудная, и, по крайней мере, знаешь, что в конце месяца заплатят жалованье.

Дона Паулина спокойна за карьеру Кинзиньо. У них есть влиятельный друг (а влиятельные друзья в здешнем королевстве — все), советник Вас Нето, и в министерстве не то общественных работ, не то юстиции для Кинзиньо уже припасено место младшего чиновника. Предназначенный ему стул отмечен платком и ждет Кинзиньо. А так как Кинзиньо провалился на последнем экзамене, то советник Вас Нето убежден, что при столь великой лени и столь малой охоте к наукам нечего ему терять время на лицейской скамье, а надо не откладывая поступить в департамент.

— Но все-таки, заключила достойная сеньора, почтившая меня своей откровенностью, я хочу, чтобы Кинзиньо кончил курс. Конечно, необходимости в этом нет, и место за ним, как видите, закреплено, но все же оно как-то благородней...

Словом, будущее Кинзиньо обеспечено самым приятным образом. Кроме того, я подозреваю, что дона Паулина дальновидно копит денежки. Все ее меблированные комнаты заняты:

в настоящее время у нее снимают номера семь человек, люди все надежные, постоянные жильцы; каждый платит за свое содержание, включая экстренные расходы, от сорока пяти до пятидесяти милрейсов в месяц. Самый давний и почтенный (о нем-то я вам и говорил) — Пиньо, Пиньо из Бразилии, командор Пиньо. Каждое утро он возвещает, что пора завтракать (часы в коридоре испортились и стоят с самого рождения), выходя из своей комнаты ровно в десять часов, с бутылкой минеральной воды Видаго и занимая за уже накрытым столом свой стул — специальный камышовый стул с надувной подушкой. Об этом человеке никто ничего не знает. Неизвестно, сколько лет Пиньо, есть ли у него семья, откуда он родом, чем занимался в Бразилии, за что ему пожаловано командорское звание. Известно лишь, что однажды в зимний вечер он приехал в Лиссабон на пакетботе английской пароходной компании «Ройял Майл» и пять дней просидел в карантине. Что он высадился с двумя чемоданами, камышовым стулом и пятьюдесятью жестянками варенья из гуавы; что он снял в пансионе у доны Паулины комнату с окном на улицу и теперь, беззаботный и улыбчивый, тихо толстеет на шесть процентов ренты со своих бумаг. Это приземистый, коренастый человек с седеющей бородой и смуглым лицом цвета гуавы и кофе. Он всегда одет в черное суконное платье и носит золотой орлет на шелковом шнурке; гуляя, Пиньо останавливается на каждом углу, долго распутывает этот шнурок, который постоянно зацепляется за золотую цепочку от часов, и не спеша, с интересом прочитывает театральные афиши. В основе его жизни лежит разумная упорядоченность, без которой невозможен порядок в государстве вообще. После завтрака он натягивает высокие сапоги, чистит свой шелковый цилиндр и не торопясь отправляется на Галантерейную улицу, в комиссионную контору Годиньо, где примерно часа два сидит на табурете у конторки, опершись волосатыми руками на ручку зонтика. Потом берет зонтик под мышку и неторопливо шагает на Золотую улицу. По дороге останавливается поглядеть на даму в пышном шелковом платье или на какую-нибудь шегольскую карету с гербом. В табачной лавке Соузы на Россио он выпивает стакан канесской воды и ждет, когда спадет жар. После этого он отправляется на Бульвар, где усаживается на скамье, дышит чистым воздухом и любуется красотой города; или же гуляет по Россио в тени деревьев, горделиво поглядывая по сторонам и выражая всем своим видом полное удовлетворение. В шесть он возвращается домой, снимает и складывает сюртук, надевает сафьяновые туфли, обле-

кается в удобную нанковую куртку и садится обедать, причем всегда просит вторую тарелку супа. После кофе он идет «для моциона» в центр, с задумчиво-веселым видом останавливается перед витринами модных лавок и кондитерских, иногда доходит до Шиадо, огибает новую улицу Триндаде и спокойно, но стойко торгуется за билет в театр Жиназио. Каждую неделю он поощает свой Бразильско-Лондонский банк. В воскресенье, попозже вечером, крадучись, пробирается в некий дом на улице Магдалины, где навещает одну полненькую, опрятную девушку. Каждые полгода ходит получать проценты по своим бумагам.

Все его существование, таким образом, представляет из себя покой, разграфленный по статьям. Ничто его не беспокоит, ничто его не заботит. Для него весь мир составляется из двух величин: его самого и государства, которое дает ему шесть процентов. Поэтому мир совершенен и жизнь совершенна, пока Пиньо, благодаря воде Видаго, сохраняет аппетит и здоровье и пока государство продолжает аккуратно оплачивать купоны. Впрочем, немного и надо, чтобы удовлетворить те доли души и тела, из которых, по всей видимости, состоит его существо. Потребность общения с себе подобными посредством жестов и звуков, владеющая всякой живой тварью (даже устрицей, если верить естествоиспытателям), очень слабо развита у Пиньо. В середине апреля он говорит, развертывая салфетку и улыбаясь: «Вот и лето!» Все соглашаются, и Пиньо доволен. В середине октября он бормочет, поглаживая пальцем подбородок: «Вот и зима!» Если другой жилец с этим не согласен, Пиньо замолкает, потому что не любит пререканий. И этого почтенного чередования двух мыслей ему вполне достаточно. Лишь бы подавали вкусный суп, тем более по две тарелки, — и он вполне доволен жизнью и готов воздать хвалу богу. «Пернамбукские известия», «Дневник новостей», комедия в театре Жиназио или спектакль-феерия с избытком удовлетворяют те насущные потребности ума и воображения, которые Гумбольдт обнаружил даже у ботокудов. В области сердечных чувств Пиньо скромно претендует лишь на то (как он сообщил однажды моему кузену), чтобы не схватить дурной болезни. Политикой он всегда доволен: кто бы ни управлял, лишь бы полиция поддерживала порядок и не приходили бы ни в умах, ни на улицах волнения, вредные для купонов. Что касается посмертной судьбы его души, Пиньо (эту свою мечту он поверил мне лично) «хочет только, чтобы после смерти его не похоронили заживо». И даже в таком важном вопросе, каким для всякого командора является его памятник, желания Пиньо весьма скромны: пусть

это будет приличный гладкий камень о простой надписью: «Молитесь за него».

Но было бы ошибкой, дорогая крестная, предполагать, что Пиньо чужд всему человеческому. Нет! Я не сомневаюсь, что он по-своему любит и ценит человечество. Но дело в том, что с годами понятие человечества сузилось у него до чрезвычайности. Человеком, то есть человеком почтенным, заслуживающим это благородное имя, достойным уважения, любви и даже некоторого, не слишком опасного самопожертвования, является для Пиньо держатель государственных бумаг. Мой кузен Прокопио, проявив совершенно неожиданное для спиритуалиста чувство юмора, недавно поведал ему под секретом, благоговейно выкатив глаза, что у меня много государственных облигаций! Много полисов! Много бумаг!.. И вот, когда я пришел после этого в пансион, Пиньо, взволнованный и почти покраснев, преподнес мне жестянку с вареньем из гуавы, завернутую в салфетку. Трогательный поступок! Он объясняет эту душу! Пиньо не черствый человек, не какой-нибудь сухарь Диоген в черном фраке, удалившийся в бочку своего эгоизма. В нем есть человеческое стремление любить себе подобных, делать им добро. Но кого Пиньо считает себе подобными? Тех, кто живет на ренту. И что значит, с точки зрения Пиньо, делать добро? Уступать ближнему то, что ему самому не нужно. Желудок Пиньо плохо усваивает варенье из гуавы, и потому, как только Пиньо узнал, что у меня есть рента и, следовательно, что я — ему подобный, тоже, как и он, капиталист, он не замедлил исполнить долг человечности и сделал мне добро: подарил, краснея от смущения и удовольствия, банку варенья в салфетке.

Значит ли это, что командор Пиньо бесполезен как гражданин? Конечно, нет! Напротив! Для поддержания порядка и устойчивости в государстве нет более подходящего гражданина, чем такой Пиньо — смирный, со всем согласный, молчаливый, инертный, аккуратно проверяющий по пятницам банковские счета, срывающий скромные цветы удовольствий с гигиенической гарантией. От Пиньо никогда не произойдет ни идеи, ни действия, ни утверждения, ни отрицания, которые нарушили бы равновесие в государстве. Тучный, смирный Пиньо прилепился к социальному организму и не содействует его движению, но и не препятствует ему и, следовательно, являет все признаки жирового нароста. В социальном отношении Пиньо — жировик. Нет ничего безобиднее жировика. А в наше время, когда в государстве полно разрушительных элементов, которые, словно паразиты, сосут его, заражают и нарушают нормальный ход

дел, безобидность Пиньо может рассматриваться, с точки зрения порядка, даже как заслуга. Ходят слухи, что Пиньо скоро удостоит баронского титула, причем такого, который окажет честь обоим: и Пиньо и государству, ибо в этом титуле одновременно будет тонко и деликатно выражено почтение к семье и к религии. Отца Пиньо звали Франсиско: Франсиско Жозе Пиньо. И вот, наш друг получит титул барона де Сан Франсиско.

До свиданья, дорогая крестная! У нас восемнадцатый день идет дождь! С начала июня, с тех самых пор, как расцвели розы, в солнечной Португалии, стране лазурного неба, в краю оливок и лавров, любезных Фебу, идет дождь. Он льет без остановки, сплошными, ровными потоками. Нет ни ветра, который всколыхнул бы его струи, ни солнечного луча, который осиял бы их светом. Между тучами и улицами повисла зыбкая завеса сырости и печали, где душа бьется и чахнет, как бабочка в паутине. Мы сейчас находимся целиком в стихе семнадцатом седьмой главы Книги Бытия. Если хляби небесные не затворятся — значит, намерения Иеговы насчет этой грешной страны самые угрожающие в смысле потопа. Лично я не считаю себя менее достойным милости и участия божия, чем Ной, и потому начинаю скупать дерево и смолу, чтобы строить ковчег по самой лучшей еврейской или ассирийской модели. И если вскоре белая голубка постучится в ваше окно, то это будет значить, что я приплыл в Гавр на своем ковчеге и в числе прочих зверей везу Пиньо и дону Паулину, чтобы после, когда вода спадет, Португалия снова бы заселилась с пользой для себя и государство всегда имело бы в своем составе командоров Пиньо, чтобы занимать у них деньги, и толстяков Кинзиньо, на которых оно могло бы расходовать деньги, занятые у Пиньо.

Ваш любящий крестник

*Фрадики.*

## XI

Господину Бертрану Б., инженеру в Палестине.

*Париж, апрель.*

Дорогой Бертран!

Сегодня, в пасхальное воскресенье, ликующие небеса облачились в праздничные золотые и лазоревые ризы и свежая сирень окурила мой сад своим фимиамом — и вот, как в насмеш-



ку, приходит твое ужасное письмо, в котором ты сообщаешь, что закончена трассировка железнодорожного пути от Яффы до Иерусалима! И ты рад! Так и вижу, как ты стоишь у врат Дамаска, погрузив ботфорты в прах Иосафата и положив зонтик на надгробие пророка, водишь карандашом по бумаге и самодовольно улыбаешься, разглядывая сквозь темные очки отмеченную флажками линию, по которой скоро, дымя и свистя, покатится из древней Иеппо в древний Сион черный поезд, твое черное детище! А вокруг десятники, отирая трудовой пот, откупоривают ради праздника бутылки пива! И за твоей спиной у стен Иродова города стоит ошетилившийся Прогресс, весь на винтах, весь на крюках, и тоже радуется, потирая с резким звяканьем свои негнущиеся руки из литого железа.

Прекрасно чувствую, прекрасно понимаю твой гадкий замысел, о зловещий сын Школы путей сообщения! И напрасно ты пытаешься пустить мне пыль в глаза своими чертежами из красных линий, похожих на порезы, нанесенные благородному телу презренным кинжалом. В Яффе, в древней Иеппо, которая была славным и священным городом еще до всемирного потопа, ты воздвигнешь первую железнодорожную станцию — с перроном, складом угля, весами, звонком и начальником станции в фуражке с кокардой; ты соорудишь вокзал среди апельсиновых рощ, воспетых в Евангелии, на том самом месте, где святой Петр, спеша на крики женщин, воскресил добрую ткачиху Дорку и помог ей выйти из гробницы. Оттуда паровоз и вагоны первого класса, с обитыми коленкором сиденьями, бесстыдно покатают по Саронской долине, столь любимой небом, что даже под тяжелой стопой филистимлянских орд в ней никогда не увядали анемоны и розы. Засим твой поезд пересечет Бет-Дагон, смешивая пыль кардифского угля с прахом древнего храма Ваала (того самого храма, который рухнул от движения плеч обьятого скорбью Самсона). Вот состав бежит через Лидду и издает оглушительный свисток на том месте, где спит вечным сном святой Георгий в кольчуге и пернатом шлеме, положив руку в железной перчатке на рукоять меча. После этого паровоз накачает в резервуар через кожаную кишку воду из священного колодца, где Мария-дева на пути в Египет отдыхала под смоковницей и поила младенца. Он сделает остановку в Рамле, древней Аримафее («Аримафeya! Стоянка пятнадцать минут!»), в селении с тихими садами, родине кроткого человека, похоронившего господа нашего Иисуса Христа. Потом поезд проползет через дымный туннель в холмы Иудеи, на которых

плакали пророки. Вот он проносится мимо каких-то развалин... Это древняя крепость, а потом и гробница Маккавеев! Перебирается по железному мосту через поток, где бродил по берегу Давид, набирая камни для пращи, истребительницы чудовища. Пыхтит и кружит по меланхолической долине, где жил Иеремия. Далее он загрязняет Эммаус, мчится через Кедрон и весь в масле, копоти, чаду останавливается, наконец, в долине Эннома: конечная станция, Иерусалим!

Так вот, дражайший Бертран: я не кончал Школы путей сообщения и не состою акционером Общества палестинских железных дорог; я простой паломник, люблю эти очаровательные места и потому считаю, что дело, которое ты делаешь, — не цивилизация, а профанация. Я прекрасно знаю, господин путеец, что воскрешение старой Дорки святым Петром, сказочные саронские розы, отдых девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор, которые насадили на их пути ангелы, — все это басни... Но эти басни уже две тысячи лет дарят трети человечества очарование, надежду, утешение, силу жить. Места, где происходили эти события, — такие простые, такие человеческие, выросшие впоследствии в прекрасную христианскую мифологию из-за потребности души в божественном, — тем самым достойны глубокого почитания. В этих местах жили, боролись, учили, страдали все исключительные личности, от Иакова до святого Павла, которые ныне населяют небо. Только среди этих гор Иегова являлся людям в ужасающем блеске — в те баснословные времена, когда он еще посещал землю. В эти задумчивые долины сошел Иисус, чтобы обновить мир. Палестина всегда была излюбленной страной божества, и потому ничто материальное не должно осквернить этот уголок, в котором живет душа. Жаль, очень жаль, что дым прогресса загрязнит воздух, где еще веет благоуханье, оставленное полетом ангелов, и что железные рельсы взроют почву, где еще сохранились следы божественных ног.

Ты улыбаешься и обвиняешь древнюю Палестину именно в том, что она является источником вредных фантазий. Но фантазия, дорогой Бертран, так же полезна, как положительное знание; и в формирование каждой души — если мы хотим, чтобы оно было полноценным, — должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки. Кто разрушает религиозное и поэтическое влияние Святой земли — в простых ли сердцах или в умах более культивированных, — тот способствует регрессу цивилизации, цивилизации истинной, той, в которой ты не работник и для которой совершенствование души важнее,

чем оберегание тела; и даже в смысле обычной полезности она выше ценит чувство, чем машину. А паровоз, маневрирующий по Галилее и Иудее, со своим углем и своим железом, с неизбежным распространением отелей, omnibusов, бильярдных и газовых рожков, непоправимо уничтожает эмоциональное воздействие Земли чудес, потому что модернизирует, индустриализирует и опошляет ее.

На чем зиждилась духовная власть, духовное значение Палестины? На том, что в течение четырех тысяч лет она оставалась библейской и евангельской землей... Без сомнения, в этой стране произошло много изменений: турецкое владычество не так блистательно, как римское; на месте садов и виноградников вокруг Иерусалима остались лишь камни да крапива; обветшалые города потеряли свой героический облик военных твердынь; вино почти не изготавливается; всякое знание заглохло. И я не сомневаюсь, что даже в Сионе, на террасе у левантійского купца, можно услышать, как насвистывают вальс из «Мадам Анго»... Но внутренняя жизнь людей (оседлых ли земледельцев и горожан или кочевников), их нравы, обычаи, обряды, одежда, посуда — все осталось таким, каким было во времена Авраама и Иисуса. Попасть сейчас в Палестину — все равно, что проникнуть в живую Библию. В тени сикоморы — палатки из козих шкур; пастух стоит, окруженный своим стадом, опершись на копье; женщины в желтых и белых покрывалах, с кувшином на плече, поют песню, спускаясь к колодцу; горец целится из пращи в орла; у ворот города сидят по вечерам старцы; светлые террасы усеяны голубями; писец проходит с чернильницей на поясе; служанки мелют зерна; человек с длинными волосами назорей приветствует вас словом «мир» и разъясняется притчами; хозяйка дома, принимая вас, постилает коврик у порога своего жилища; и брачные процессии, и медленные танцы под рокот бубнов, и плакальщицы у белых гробниц — все переносит странника в Иудею времен Писания так жизненно и реально, что на каждом шагу спрашиваешь себя: не Рахиль ли вон та тоненькая смуглая женщина с золотыми кольцами в ушах, что проходит мимо, источая аромат сандала, и козленок идет за ней, ухватившись зубами за край ее плаща? И не Иисус ли тот человек с короткой курчавой бородой, который говорит что-то, подняв руку, в группе собравшихся под смоковницей мужчин?

Это ощущение, драгоценное для верующего, ценно и для мыслителя, ибо ставит его в осязательное общение с одним из самых чудесных моментов истории человечества. Конечно, было

бы так же важно (может быть, еще важнее) пережить подобное волнение в Греции и найти в ее одеждах, обычаях и общественной жизни великие Афины эпохи Перикла. К несчастью, несравненные Афины умерли безвозвратно, навеки погребены под землей, обратились в прах под Афинами римскими, и Афинами византийскими, и Афинами варварскими, и Афинами мусульманскими, и грязными конституционными Афинами. Повсюду древние декорации истории изодраны в клочья, сровнены с землей. Кажется, что даже горы потеряли свои классические контуры, и невозможно найти в Лациуме ту реку в прохладной долине, где жил Вергилий и которую он так по-вергилиевски воспел. На всей земле лишь одно-единственное место сохранило тот облик и те обычаи, с какими его видели и знали люди, совершившие один из самых великих мировых переворотов: это место — Иудея, Самария и Галилея. И если оно будет грубо модернизировано, подведено под общий ранжир, любезный нашему веку и представляющий собою копию Ливерпуля или Марселя, и если навсегда исчезнет поучительная возможность видеть великий образ прошлого, — какая это будет профанация, какое грубое и варварское опустошение! Потеряв реликт древних цивилизаций, сокровищница нашего знания и вдохновения невозможно оскудеет.

Конечно, милый Бертран, никто не ценит и не уважает железную дорогу больше, чем я; мне было бы весьма затруднительно совершить путешествие из Парижа в Бордо, сидя с растопыренными ногами на осле, подобно Иисусу, въезжавшему из Иерихонской долины в Иерусалим. Однако самые полезные предметы неуместны и даже неприличны, когда грубо вторгаются в чуждые им области. Нет ничего полезнее ресторана; и все-таки даже самый отъявленный атеист не пожелал бы разместить ресторан, с его столиками, звоном тарелок и запахом жареного, в соборе Парижской богородицы или в древнем соборе Коимбры. Железная дорога — вещь весьма похвальная между Парижем и Бордо. Но между Иерихоном и Иерусалимом лучше ехать на резвой лошадке, нанятой за две драхмы, и ночевать не в отеле, а в брезентовой палатке, которую можно поставить вечером среди пальм на берегу прозрачного ручья, где так сладко спится под мирными сирийскими звездами.

Шатер у ручья, задумчивый верблюд, груженный тюками, пестрый отряд бедуинов, пустыня, по которой скачешь с ощущением беспредельной свободы, лилия Соломона, сорванная в расселине священных камней, тенистый приют у библейского

колодца и память о далеком прошлом земли — именно они придают столько очарования этой дороге и так сильно влекут человека со вкусом, способного к тонкому эмоциональному восприятию природы, истории и искусства. Когда же из Иерусалима проведут в Галилею железнодорожную колею, с ее гремющими, грязными вагонами, никто уже не захочет путешествовать по этим местам — кроме, может быть, расторопного коммивояжера, которому нужно распродать на базарах манчестерские ситцы и красные суданские сукна. Твой черный поезд поедет без пассажиров. И это будет большая радость для всех культурных людей, кроме акционеров Общества палестинских железных дорог!..

Но успокойся, милый Бертран, инженер-путеец и держатель акций! Даже самые верные слуги Идеала не в силах устоять против материалистических соблазнов прогресса. Если человеку XIX века предложат на выбор для следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону, с одной стороны, караван самой царицы Савской, полный поэзии и овейный легендой: вереницу слонов и диких ослов с грузом благовоний и драгоценных камней, в сопровождении знаменосцев, лирников и глашатаев в венках из анемонов; а с другой стороны — свистящий поезд с открытыми дверцами, в котором можно проделать тот же путь без тряски и солнечных ударов, со скоростью двадцать километров в час и с билетом туда и обратно, то человек XIX века, будь он самым утонченным интеллектуалом и самым эрудированным эстетом, схватит свою шляпную картонку и со всех ног побежит в вагон, где можно разуться и спать врасстяжку.

Поэтому твое черное дело процветет благодаря самой своей черноте. Через несколько лет деловой европеец, выехав утром из древней Иеппо в вагоне первого класса, сможет купить на станции Газа «Либеральную синайскую газету», с аппетитом позавтракать в Рамле в гранд-отеле Маккавеев, а вечером в Иерусалиме пройтись по Скорбному Пути, освещенному электричеством, выпить кружку пива и сыграть партию на бильярде в казино Гроба господня!

Это будет дело твоих рук и конец христианской легенды. Прощай, чудовище!

*Фрадики.*

Госпоже де Жуар.

*Ферма Рефалдес (Миньо).*

Дорогая крестная!

Я живу в полном довольстве среди церковных угодий, потому что эта усадьба некогда принадлежала монастырской братии. А теперь ею владеет один из моих друзей. Поэт и земледелец, как Вергилий, он обрабатывает землю и пашет стада и с благоговением воспевает героическое прошлое Португалии. Крепкий, цветущий, загорелый, он со своими восемью детьми населяет монашеские кельи, обитые светлым кретоном. Я вернулся из Лиссабона сюда, на север, к маисовым полям, чтобы крестить его младшего сына: это пресимпатичный маленький сеньор в три вершка ростом, кирпичного цвета, весь в складочках и выпуклостях, настоящий кренделек, с лысой головой в виде дыни, с блестящими, как стеклышки, глазами на морщинистом личике и со старческим выражением глубокого скептицизма. В субботу, в день святого Бернарда, под ослепительной небесной лазурью, которую святой Бернард специально ради этого случая подновил и прогрел, среди аромата роз и жасминов, мы понесли его, под звон колоколов, всего в бантах и кружевах, к купели, где отец Теотоний смыл с него коросту первородного греха, которая уже покрывала все его тельце, от пухлых пяток до голого темени! Бедный трехвершковый сеньор, чья душа погибла, не успев пожить!.. И с тех пор Рефалдес стал для меня островом лотофагов, а я словно поел лотоса вместо цветной капусты — и вот остался здесь, забыв мир и себя самого; и дышу воздухом этих чудесных лугов, и наслаждаюсь сельской тишиной, которая нежит и баюкает меня.

Монастырский дом, где мы живем и куда раньше приезжали на лето каноники ордена святого Августина, жирные и богатые святые отцы, расположен по соседству с простой, незатейливой церковкой. Шпалеры гортензий ведут в осененный каштанами церковный двор — задумчивый и серьезный, как повсюду в Миньо. Каменный крест над воротами, в проеме которых все еще висит на цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Перед домом — фонтан с питьевой водой; струя ее сонно поет, падая с раковины на раковину. Над фонтаном — другой каменный крест, поросший желтоватым мхом. Немного дальше — просторный бассейн, искусственное озеро,

окруженное каменными скамьями; по всей вероятности, здесь святые отцы наслаждались вечерней прохладой и тишиной. В этом бассейне берут воду для поливки сада: обильная, чистая струя бьет из-под каменной статуи в нише, — фигуры святой Риты. В огороде стоит еще одна тощая святая: держа в руках разбитый сосуд, она, подобно нянде, охраняет третий источник, который с журчаньем катит свои чистые струи по каменным желобам через бобовое поле. На гранитных столбах, служащих подпорками для винограда, вырезаны рельефы: то крест, то сердце Иисусово, то его монограмма. Таким образом, вся эта усадьба, испещренная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей служат виноградные лозы, пол порос травой, из каждой щели бьет источник воды, и аромат гвоздики курится вместо ладана.

Но, несмотря на обилие благочестивых эмблем, ничто здесь не принуждает к отречению от мира. Ферма дает хорошие урожаи. Как и прежде, она окружена отлично обработанными и орошенными полями, которые греются на солнце, раскинувшись привольно, как античная нимфа. Добрейшие отцы, обитавшие здесь, любили и землю и жизнь. Все это были природные фидалго, которые вступали в воинство господне совершенно так же, как их старшие братья вступали в войско короля; и, точно как те, они наслаждались досугами, привилегиями и богатствами своего ордена и своей касты. Они переезжали в Рефалдес с наступлением июльской жары, в портшезах, со свитой лакеев. В кухню они заглядывали куда чаще, чем в церковь, и жирные каплуны ежедневно поддурманивались на вертелах для их улаживания. Слой пыли стыдливо покрывал библиотеку, куда редко-редко какой-нибудь каноник, прикованный к креслу ревматизмом, посылал за «Дон-Кихотом» или за «Фарсами доньи Петронильи». Ученые аббаты обметали пыль, проветривали, каталогизировали, надписывали этикетки — но только не в библиотеке, а в винном погребе!

Итак, не ищите в этой обители налета монастырской грусти; не ищите в ее окрестностях горных ущелий или долин, где царят безмолвие и уединение и так сладко тосковать по небу. Вы не увидите здесь лесных чащ, в какие уходил святой Бернард в поисках более полного, чем в келье, уединения; нет тут и поляны с голой скалой, где можно поставить хижину и каменный крест для отшельника... Нет! Вокруг усадьбы стоят добротные амбары для зерна; в курятниках едва вмещаются индюшки и каплуны. Чуть подальше цветущий огород, где все благоухает, все дышит изобилием — тут хватит, чем наполнить

котлы целой деревни; в огороде этом нарядно, как в саду; уютные дорожки проложены вдоль душистых грядок земляники, под сенью виноградных трельяжей. За воротами — каменный ток, гладкий, чистый, поставленный на века, с хорошо сложенным и хорошо продуваемым овином; в нем так просторно, что воробьи летают внутри, как под открытым небом. И, наконец, на всей равнине, вплоть до далеких холмов, волнуются тучные нивы, поля проса и ячменя, темнеют низкие виноградники, радуют глаз оливковые рощи, посеvy льна по краям оросительных каналов, сенокосы, зеленые выпасы для скота... Святой Франциск Ассизский и святой Бруно прокляли бы такой монастырь и бежали бы отсюда без оглядки, как от воплощенного греха!

Внутренность дома являет тот же мирской уют. Просторные кельи с расписными потолками выходят окнами на залитые солнцем поля, откуда в них вливается дыхание довольства, зажиточности, надежных земных благ. Лучшая комната, предназначенная для самого важного дела, — трапезная с широкими балконами, где монахи, сытно поев, могли, согласно традиции, смаковать после обеда кофе маленькими глотками, икая и пошучивая, дышать свежим воздухом и слушать пение дроздов, гнездящихся на тополе во дворе.

Когда это жилище из монастырского сделалось мирским, в нем ничего не пришлось менять. Оно и раньше было создано для мирской суеты, и жизнь, какой тут зажили новые обитатели, не отличалась от прежней: только стала еще прекрасней, освободившись от противоречия между светским и духовным укладом, и потому гармония ее теперь совершенна. Жизнь течет здесь с несравненной приятностью. На заре поют петухи. Усадьба просыпается, сторожевых псов сажают на цепь, служанка идет доить коров, пастух берет на плечо свой посох, батрачки приступают к полевым работам — и трудовой день начинается. Труд на земле кажется здесь нескончаемым праздником, потому что работники все время поют. Голоса высоко, вольно несутся в чуткой тишине оттуда — с нив, со вспаханных полей, где белеют рубашки из сурового полотна и алеют, точно маки, платочки с длинной бахромой. В этом труде не чувствуется ни усилия, ни напряжения. Он совершается легко, как хлеб зреет на солнце. Плуг словно не бороздит, а ласкает землю. Колос сам собой, любовно падает в лоно увлекающего его серпа. Вода знает, где почве нужна влага, и, сверкая, сама хлопотливо бежит туда. В этих благословенных краях, как в Лациуме, Церера осталась богиней земли и всему



благоволит, всему споспешествует. Она укрепляет руку земледельца, освежает его потное лицо, снимает с его сердца всякую заботу. И те, кто ей служит, сохраняют веселую ясность духа в самом тяжком труде. Такой была благодатная жизнь древних.

В час дня — сытный, основательный обед. Усадьба дает в изобилии и вино, и масло, и овощи, и плоды — и все это вкусное, свежее, питательное, не то что в городе, потому что принимается прямо из рук господ бога, минуя рынок и лавку. Ни в одном дворце взыскательной Европы не едят так вкусно, как в португальской деревне. В закопченной кухне, где всей утвари — два глиняных котла, а в очаге на полу пылает несколько поленьев, деревенская стряпуха, засучив рукава, умеет приготовить пир, который привел бы в восторг самого Юпитера, небесного гурмана, вскормленного на нектаре, — ведь с тех пор, как появились боги на небе и на земле, именно он ел больше всех и умел лучше всех наслаждаться едой. Кто никогда не пробовал сваренного в котелке риса, не едал пасхального ягненка, зажаренного целиком на вертеле, не пробовал цыплячьих потрохов, родившихся вместе с Португальским королевством и уносящих нас в рай, тот не может знать по-настоящему, в чем заключается та несравненная, грубо-земная и такая божественная радость, которую во времена монахов называли «чревоугодием». И вся эта усадьба, с нежной тенью виноградных шпалер, сонным журчаньем оросительных канав, золотом нив, — то тускнеющим, то ярко горящим, — дарит лучше всякого иного земного или небесного рая чувство покоя тому, кто встал, отяжелевший и довольный, поев этого риса и этого ягненка!

Если полдень здесь немного слишком материалистичен, то вскоре вечер внесет в вашу жизнь необходимую душе толику поэзии. Погасло на небе золотое сиянье, этот дерзновенный блеск, который слепит глаза и почти раздражает. Теперь, умиротворенное, дружелюбное, оно изливает нежность и мир, которые проникают в душу, вселяют в нее такую же нежность и умиротворение. Это редкий миг, когда небо и душа братаются и понимают друг друга. Деревья стоят неподвижно и смотрят почти как разумные существа. В тихих, коротких трелях птиц угадываешь сознание уюта и счастья в родном гнезде. Утомленное, сытое стадо вереницей бредет с пастбища и останавливается пить у бассейна, где под крестом лениво плещется вода. Колокол звонит к «Аве Марии», и во всех домах шепчут имя божие. Запоздалый воз с сеном скрипит на темнеющей

дороге. Все так спокойно, так просто и нежно, дорогая моя крестная, что, сидя где-нибудь на каменной скамье, я всеми порами чувствую проникновенную благодать природы; я в таком согласии с ней, что душа моя, закоснелая в мирской грязи, уже не помнит ни одной мысли, которую нельзя было бы рассказать святому...

Право же, здешние вечера возвышают душу. Воспоминания всей прожитой жизни уходят куда-то далеко, за сосны и холмы, как забытая невзгода. Поистине, мы живем в дивном монастыре, где нет устава и нет аббата. Наш единственный устав — святость окружающей природы, и наша молитва без слов быстрее доходит к богу.

Вот и стемнело: уже загораются светляки на живых изгородях. Крошечная Венера блесит в вышине. Комната наверху полна книг, запертых там еще святыми отцами. С тех пор, как этот дом не принадлежит духовному ордену, он одухотворился. День в усадьбе заканчивается неторопливой, спокойной беседой о мыслях, о книгах; где-то неподалеку гитара наигрывает фадю, исполненное печали и горестных вздохов. А луна, круглая и красная, поднимается из-за темных гор и как будто слушает и заглядывает в глубину балкона...

*Deus nobis haec otia fecit in umbra Lusitaniae pulcherrimae*<sup>1</sup>.

Латынь дурная, зато мысль верная.

Ваш дурной, но верный

*Фрадики.*

### XIII

Кларе ...  
(С франц.)

*Париж, ноябрь.*

Моя любовь!

Всего несколько мгновений тому назад (десять мигнов, десять минут — столько ушло на дорогу в гадком фиакре, который увез меня из нашей Башни слоновой кости) я еще чувствовал биение твоего сердца около моего сердца; их разделяло только немного смертной материи, такой прекрасной в тебе, такой грубой во мне, и вот я уже в тоске стремлюсь продлить с помощью безжизненной бумаги то невыразимое, что заключается

---

<sup>1</sup> Господь дал нам тут отдохновение в сени прекрасной Лузитании (лат.).

в словах «быть с тобой» и в чем теперь вся цель моей жизни, моя действительная, высшая жизнь. Вдали от тебя я перестану жить, все перестает жить, и я, как мертвец, лежу среди мертвого мира. Едва кончается для меня этот совершенный краткий миг жизни, которым ты даришь меня, садясь рядом и шепча мое имя, и я снова начинаю тосковать по тебе, как по воскрешенно из мертвых.

Прежде чем я полюбил тебя, прежде чем я получил из рук богов мою Еву — чем, в сущности, я был? Тенью, колеблемой среди теней. Но ты пришла, любимая, чтобы я ощутил свое бытие и мог с ликованием крикнуть: «Люблю — значит, существую!» Ты открыла мне не только мою собственную сущность, но и сущность всей вселенной, которая раньше была для меня непонятным, серым нагромождением видимостей. Помнишь, несколько дней тому назад, с наступлением сумерек на террасе в Севране, ты сердилась: как мог я вблизи твоих глаз любоваться звездами и вблизи твоих теплых смотреть на засыпающие холмы, ты не знала, и я не сумел тогда объяснить тебе, что это созерцание — лишь новый способ поклоняться тебе; поистине, во всем окружающем я вижу новую красоту, которую одна ты умеешь разливать на все, что тебя окружает; прежде чем я стал жить подле тебя, я никогда ее не замечал, как незаметен алый цвет розы и нежная зелень травы, пока не взойдет солнце. Это ты, любимая, осветила мне мир. Через твою любовь я воспринял таинство. Теперь я понял, теперь я знаю. И, как древний в миг посвящения, могу сказать: «И я был в Элевзисе; на долгом пути я возложил много цветов, но ненастоящих, на многие алтари, но ложные. Но вот я пришел в Элевзис, проник в Элевзис — и узрел, и почувствовал истину!..»

Мое мучение и мой восторг усугубляются тем, что твоя красота так восхитительна и так воздушна: она создана из неба и земли, это красота совершенная, тебе одной присущая. Я носил ее в себе как мечту и не верил, что встречу в жизни. Сколько раз я думал перед всегда удивительной и всегда безупречной Венерой Милосской: если бы в голове этой богини могли тесниться земные заботы; если бы ее гордые, бессловесные глаза могли затуманиться слезами; если бы ее уста, созданные для меда и лобзаний, дрогнули, смиренно шепча мольбу; если бы в этой груди, высочайшем вожелении богов и героев, когда-нибудь затрепетала любовь и с нею благодать; если бы этот мрамор умел страдать — страдание одухотворило бы его; к великолепию гармонии прибавилось бы хрупкое изяще-

ство; и если бы она жила в наше время, чувствовала бы наши горести и, оставаясь богиней наслаждения, сделалась бы владычицей страдания — тогда она стояла бы не в музее, но в святилище, потому что люди, видя в ней страстно-желанное, но невозможное соединение действительности и идеала, провозгласили бы ее *in aeternam*<sup>1</sup> конечным божеством. Но увы! Бедная Венера являет только холодное телесное совершенство. Ей не хватает внутреннего пламени, пылающего в душе. А несравненное создание моей мечты — Венера с душой, скорбящая Кифарея — ее нет, не было и никогда не будет! Так думал я, но вот ты явилась, и я узнал тебя. Ты — воплощение моей мечты, мечты всех людей. Но только один я тебя открыл, или, вернее, я был так счастлив, что одному мне ты пожелала открыться!

Суди же сама, выпущу ли я тебя когда-нибудь из своих объятий! Ты — мое божество, и это значит, что ты навсегда во власти моего поклонения. Карфагенские жрецы приковывали бронзовыми цепями к плитам храма статую Ваала. И я тоже хочу приковать тебя в храме, построенном для тебя жадным скупцом, чтобы ты была лишь моим божеством и всегда пребывала на алтаре, а я, повергшись ниц, буду постигать тебя душой и погружаться в твою сущность беспрестанно, чтобы даже на миг не прерывалось это невыразимое слияние. Для тебя это дело милосердия, для меня — спасение. Я бы желал, чтобы ты оставалась невидимой другим, не существовала бы для них, чтобы непроницаемый покров ограждал твоё тело от посторонних взоров и строгая немота скрывала твой ум. И ты прошла бы в мире, как непонятое видение, и только для меня под темной одеждой сияло бы твоё изумительное совершенство. Видишь, как я тебя люблю: мне бы хотелось, чтобы ты всегда носила грубое и бесформенное шерстяное одеяние, чтобы лицо твоё было безжизненным и неподвижным... Тогда я лишился бы горделивой радости наблюдать, как блистает среди очарованной толпы та, что втайне любит меня. Все шептали бы с состраданием: «Бедняжка!» И только я один знал бы, как прекрасна эта «бедняжка» телом и душой!

А она прекрасна! Я не могу понять, как, сознавая собственную прелесть, ты не влюбилась в себя, подобно Нарциссу, прикрытому мхом и дрогнувшему от холода на берегу ручья в Севране. Но я люблю тебя и за себя, и за тебя! Твоя красота, как добродетель, поистине возвышенна; чистая душа сделала

---

<sup>1</sup> Навеки (*лат.*).

такими прекрасными линии твоего тела. И я постоянно корю себя за то, что не умею любить тебя так, как ты заслуживаешь (ведь ты спустилась с высшего неба), что не умею обходиться, как должно, с дивной обитательницей моего сердца. Иногда мне хочется окружить тебя неземным блаженством, бесконечным, нерушимым, какое должно быть в раю, — и чтобы мы, обнявшись, в один и тот же час расстались с жизнью и вместе летели бы в безмолвном, сияющем пространстве, и в ином мире продолжали бы тот же восторженный сон. А иной раз я бы желал сгореть вместе с тобой в бурном, огненном счастье, погибнуть в этом великолепном пламени, и чтобы от нас обоих осталась только горсть безымянного, забытого пепла! У меня есть старинная гравюра; сатана, во всем блеске своей архангельской красоты, увлекает к пропасти святую монахиню, чьи последние покаянные покрывала рвутся об острия черных скал. На лице у святой ужас; но сквозь ужас сияют, неукротимее и сильнее, чем ужас, радость и страсть. Для тебя я желал бы такой радости и страсти, о моя похищенная святая! Ни одним из этих двух способов я не умею тебя любить, слишком слабо и неумело мое сердце. Но если любовь моя несовершенна, я удовлетворюсь тем, что она вечна. Ты грустно улыбаешься при слове «вечность». Вчера ты спросила меня: «Сколько дней длится вечность по календарю твоего сердца?» Но не забывай, что я был мертв, а ты меня воскресила. Новая кровь в моих жилах, новый дух, новые чувства и новое понимание. Вот что такое моя любовь к тебе. Если она уйдет от меня, я снова окоченею, онемею, вернусь в мою гробницу. Я перестану любить тебя, когда перестану существовать. Жизнь с тобой и для тебя — невыразимо прекрасна! Так живут боги. Может быть, и боги этого не испытали; и если бы я был язычником, каким ты меня считаешь, языческим пастухом из Лациума, и верил бы в Юпитера и Аполлона, я бы каждое мгновение боялся, что кто-нибудь из этих завистливых богов похитит тебя и унесет на Олимп, чтобы сделать полным свое бессмертное блаженство. А теперь я не боюсь: я знаю, что ты моя, навсегда моя, и весь мир — это рай, созданный для нас, и я сплю спокойно на твоей груди, спокойно и блаженно, о моя трижды благословенная царица благодати!

Не подумай, что я сочиняю тебе хвалебный гимн. Я просто даю излиться тому, что кипит у меня в душе... Да что! Вся поэзия всех веков бессильна выразить мой восторг. Я лепечу, как могу, мою нескончаемую молитву... Человеческое

слово прискорбно несовершенно. И вот, как деревенский неуч, я становлюсь перед тобой на колени и, воздев руки, твержу единственную, самую верную истину: я люблю тебя, люблю, люблю и люблю!

*Фрадики.*

#### XIV

Госпоже де Жуар.  
(С франц.)

*Лиссабон, июнь.*

Дорогая крестная!

В меблированных комнатах на Соломенной улице, где томится на привязи у Истины мой кузен Прокопио, я познакомился после возвращения из Рефалдеса с одним священником, падре Салгейро. Вы, я знаю, любительница лукаво и кропотливо коллекционировать любопытные человеческие типы, и, может быть, сочтете этого падре занятным образчиком для вашей коллекции.

Мой рассеянный и хилый философ уверяет, пожимая плечами, что падре Салгейро не отличается ни телом, ни душой от всякого священника их епархии и что он, как добросовестно составленный перечень, соединяет в себе мысли, чувства, привычки и внешние черты всего португальского духовенства. Действительно, по внешнему виду падре Салгейро — ходячий тип португальского священника.

Родом он из крестьян; немного пообтесался в семинарии, усвоил приличные манеры в общении с местными начальниками и чиновниками из департамента духовных дел, понаторел в искусстве импонировать верующим дамам, особенно во время мессы и исповеди, а главное, приобрел некоторый столичный лоск в Лиссабоне, в семейных пансионатах, зараженных литературой и политикой. Его выпуклая грудь дышит глубоко, как кузнечные мехи; руки у него до сих пор темные и жесткие, несмотря на то, что они уже столько лет прикасаются к белым, мягким облаткам. Кожа на лице точно дубленая, с синеватым отливом на щеках от тщательно выскобленной бороды; такая же синеватая тонзура среди черных, жестких, как лошадиная грива, волос; зубы ослепительной белизны. Все это черты, присущие крестьянскому сословию, из которого он вышел и которое ныне поставляет португальской церкви весь ее персонал, стремясь найти опору в союзе с единственной мо-

гущественной силой современного общества, которая ему понятна и не внушает недоверия.

Но изнутри, в нравственной своей основе, падре Салгейро являет поразительно живописное устройство, совершенно новое для человека вроде меня; ведь до сих пор я наблюдал португальское духовенство лишь снаружи: видел то спину в сутане, исчезающую в дверях ризницы, то заношенный платок со следами нюхательного табака на краю окошечка исповедальни, то белое пятно епитрахили в коляске, провожающей гроб на кладбище...

Как-то раз нам с падре Салгейро довелось поболтать о том, о сем, прогуливаясь вокруг России, и меня совершенно поразило то, как он понимает свое служение. Священство, которое он ценит и чтит как одну из самых важных основ общественной жизни, заключается, по его мнению, вовсе не в каких-нибудь духовных занятиях, но в исполнении чисто цивильных обязанностей. С тех пор как его прикрепили к приходу, он рассматривает себя как государственного служащего, чиновника, который носит свою форменную одежду — сутану — точно так, как таможенники носят положенный им мундир. Разница лишь в том, что он ходит каждое утро не в департамент на Террейро-до-Пасо, не пишет и не подшивает дел, а ежедневно, включая и праздники, служит мессу и исправляет требы в другом присутственном месте, где вместо конторки стоит алтарь. У падре Салгейро нет и не было никаких сношений с небом (небо его интересует только в смысле погоды: чистое оно или обещает дождь); сносится же он преимущественно с секретариатом Министерства юстиции и духовных дел. Ведь именно министерство поставило его на службу в приход — и отнюдь не для того, чтобы продолжать дело господне и вести паству по стезе спасения (подобная задача никак не входит в компетенцию секретариата означенного министерства), а чтобы выполнять известные функции, установленные законом для общественного блага и порядка, как-то: крестить, исповедовать, венчать и хоронить прихожан.

Следовательно, для нашего почтенного падре Салгейро таинства суть не что иное, как своего рода гражданские церемонии, необходимые для хода дел. И за все время, что он их совершает, он ни разу не задумался об их божественной природе, о благодати, которая через них сообщается душам, о той силе, что через их посредство связывает преходящую жизнь с ее непреходящим началом. Конечно, учась в семинарии, падре Салгейро зубрил по конспектам догматическую и пастырскую теологию, основы нравственности, писания святого Фомы

и сочинения Лигуори, но делал он это лишь для того, чтобы пройти учебную программу, быть посвященным в сан, а потом получить от министра юстиции приход. И в этом он ничуть не отличается от любого другого бакалавра, долбящего в Коимбре свои себенты по естественному и римскому праву, ибо без этого не пройдешь курса и не получишь докторской кисточки, а без кисточки не будет и легкой службы. Звание, и только звание как-то ценится и что-то значит, ибо именно оно дает право на должность. Наука, ведущая к диплому, — не более, чем нудная формальность, тягостный искус. Когда искус пройден, никому не приходит в голову вернуться к этой сухой материи с ее скучными параграфами. Падре Салгейро уже давно забыл, в чем состоит теологическое и духовное значение брака; но он венчает женихов и невест, и венчает искусно, с соблюдением всех правил, с сознанием честно исполненного гражданского долга. Он делает подробные записи в книге, вкладывает в жест благословения всю положенную благодать, неподражаемо соединяет руки молодых под эпитрахилью, безошибочно выговаривает все слова по-латыни, потому что государство платит ему деньги за то, что он женит граждан, как положено, а он усердный чиновник и не хочет дурно исполнять обязанности, за которые аккуратно получает плату.

Его невежество прелестно. Кроме отдельных эпизодов из земной жизни Христа: бегства в Египет на осле, умножения хлебов на свадьбе в Кане, избияния торгашей в храме, некоторых случаев изгнания беса, он ничего не знает из Евангелия, хотя согласен, что оно «очень красиво написано». Он так же далек от учения Христа, как от философии Гегеля. Из Библии ему тоже известны лишь отдельные места — наверно, по олеографиям: Ноев ковчег, разрушение Самсоном врат Газы, Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Но больше всего я развлекаюсь по вечерам, когда мы дружески болтаем в номерах на Соломенной улице: его полное неведение происхождения церкви и ее истории просто умирительно. Падре Салгейро уверен, что христианство возникло вдруг, в один день (конечно, в воскресенье) по чудодейственной воле Иисуса Христа. Но после этого радостного часа все дальнейшее тонет для него в смутном тумане, в гуще которого там и сям поблескивают нимбы святых и тиары пап — вплоть до Пия IX. Но в деятельности Пия IX его не восхищает ни догмат непогрешимости, ни Силлабус: дело в том, что падре Салгейро считает себя либералом, стремится к прогрессу, стоит за просвещение и подписывается на «Первое января».



В чем еще он необычайно живописен — это в своих рассуждениях об обязанностях, возложенных на него как на пастыря душ, то есть о его обязанностях по отношению к душам прихожан. Попробуй скажи ему, что во исполнение высшей воли он должен утишать скорбь, умерять эгоизм... Для добрейшего падре Салгейро это будет самая странная и несуразная новость! И не потому, что он не видит нравственной красоты в подобной миссии. Напротив! Он даже считает, что это «очень поэтично». Но он ни за что не поверит, что столь прекрасная и возвышенная задача может быть возложена на него, на падре Салгейро! Не требуют же от таможенного ревизора, чтобы он морально очистил и одухотворил торговлю. Подвиги святости — удел святых. По мнению падре Салгейро, святые — это особое сословие, духовная аристократия; им и поручаются сверхъестественные дела, которые вознаграждаются небом. А обязанности приходского священника — нечто совсем другое. Он — чиновник по духовной части, он должен только исполнять положенные обряды от имени церкви и, значит, от имени государства, на чей счет существует церковь. Надо окрестить ребенка? Падре Салгейро надевает епитрахиль и крестит. Надо похоронить мертвеца? Падре Салгейро берет кропило и хоронит. В конце месяца он получает свои десять тысяч рейсов (не считая пожертвований), и епископ ценит его усердие.

Из этого представления падре Салгейро о миссии священника вытекает, с похвальной логикой, его поведение. Встает он в десять часов — обычное время, когда встают все государственные служащие. Молитвенник свой он никогда даже не открывает — разве только в присутствии епархиального начальства, да и то единственно из уважения, как лейтенант становится во фронт перед своим генералом. Что же касается молитв, размышлений, умерщвления плоти, самоуглубления — всех кропотливых способов самосовершенствования и самоочищения, — то он даже не подозревает, что в этом есть какая-то необходимость или польза для него. К чему это? Падре Салгейро знает одно: будучи чиновником, он должен без отступлений и ошибок блюсти все приличия, которых требует достоинство его службы. Поэтому он всегда одевается в черное. Не курит. По постным дням ест рыбу. Никогда не переступает неправедного порога таверны. За целую зиму лишь один раз ходит в театр, а именно в Сан-Карлос, когда там дается «Полиевкт», опера религиозная и в высшей степени назидательная. Он без колебаний вырвал бы свой язык, если бы с него сорва-

лось хоть слово лжи. Он ведет весьма чистую жизнь, хотя не осуждает и не отталкивает с отвращением женщину, как водится у святых отцов. Он даже уважает ее, если она бережлива и добродетельна. Но церковный устав налагает на женщину запрет; он чиновник церкви, следовательно, женщина исключена из его жизни, он строжайше целомудрен. Нельзя быть почтеннее, чем падре Салгейро.

Поскольку он чиновник, то, по моим наблюдениям, уделяет известное время (остающееся после исполнения служебных обязанностей) изысканию способов продвинуться по служебной лестнице. Поэтому он вошел в политическую партию и три раза в неделю пьет чай у главы своей партии, угощая дам ячменным сахаром. Он ловко управляет голосами своих прихожан, исполняет сложные негласные поручения столоначальников департамента духовных дел, на своего епископа трудится без усталости: не так давно я встретил его, расстроенного, всего в поту из-за двух поручений его преосвященства: надо было добыть какое-то особенное пирожное из Синтры и комплект «Правительственного вестника».

Я еще ничего не сказал о его уме. Ум у падре Салгейро — весьма методичного, практического склада. Я убедился в этом, прослушав его проповедь в день святого Венанция. Проповедь эту падре Салгейро написал по заказу, получил за нее двадцать тысяч реисов и за эти деньги составил полноценную, документированную речь, заключавшую все, что следовало для прославления святого Венанция. Падре Салгейро осветил происхождение святого, изложил с полной точностью его чудеса (их мало), перечислил даты, процитировал источники, описал с усердием агиографа его мученичество, перечислил все посвященные ему церкви и указал даты их основания; искусно вставил похвалу начальнику департамента духовных дел, упомянул и королевскую семью, воздав ей должное соответственно конституции. В итоге получился превосходный реферат о святом Венанции.

Вечером я горячо поздравил падре Салгейро с успехом. Он пробормотал скромно и просто:

— К несчастью, святой Венанций — неблагодарная тема. Он даже не был епископом, никогда не занимал никакого поста. Как бы то ни было, я сделал все, что мог.

До меня дошли слухи, что падре Салгейро назначают каноником. Он этого вполне заслуживает. Вряд ли Христос найдет лучшего делопроизводителя. И я никогда не мог понять, почему другой мой приятель духовного звания, монах из Вара-

тожо, человек экстатической веры и беспредельного милосердия, печальник о мире в человеческих душах, истый христианин евангельского склада, называет этого усердного, пунктуального, деятельного и почтенного клирика «возмутительным падре Салгейро».

Так что вот, дорогая крестная! Требуется более тридцати или сорока тысяч лет, чтобы высокая гора выветрилась и распалась, дойдя до размеров невысокого холма, на который играючи взберется любой козленок. Но потребовалось всего около двух тысяч лет, чтобы низвести христианство с высоты отцов семи азиатских церквей до размеров комичного падре Салгейро, который представляет не семь церквей Азии и даже не одну какую-нибудь церковь, а только — скромно и преданно — секретариат департамента духовных дел. Это падение могло бы иллюстрировать непрочность всего божественного, если бы мы с вами не знали, что бог объемлет не только религии, но и горы, и Азию, и падре Салгейро, и игривого козленка, и все, что распадается, и все, что вновь создается, и даже вашего крестника, хотя он всего лишь простой человек, грешный с головы до пят,

*Фрадики.*

## XV

Бенто де С.

*Париж, октябрь.*

Дорогой Бенто!

Если ты затеваешь новую газету — то затея это вредная и мерзопакостная. Выпускать в большом формате с телеграммами и хроникой один из этих «печатных листов, которые появляются каждое утро» (как боязливо и осторожно определяет газету архиепископ Парижский), — значит насаждать у себя на родине, среди своих и без того уже поверхностных современников, еще большее легкомыслие, тщеславие и нетерпимость. Легкомыслие, тщеславие и нетерпимость — три смертных греха, которые морально губят общество. А ты, ничтоже сумняшеся, собираешься их усугублять! Бессознательно, как чума, ты будешь сеять духовную смерть. И будь уверен: дьявол уже подкладывает дрова под котел со смолой, где ты будешь с воем вариться, мой милый, но погибший Бенто!

Не думай, что я озлобленный моралист, вроде Иоанна Златоуста, и все преувеличиваю. Пойми: именно печать, с ее взбалмошной, оголтелой манерой все утверждать и обо всем судить,

еще больше укореняет в нас пагубную легковесность мнений. Конечно, необоснованные суждения выносились во все времена: уже грек был опрометчив и болтлив; Моисей в пустыне немало натерпелся от изменчивого ропота евреев. Но никогда до нашего торопливого века бессовестное выдумыванье не было естественным умственным процессом. Ныне все мы, за исключением нескольких философов, поработанных методом, и немногих верующих, которые боятся погрешить против совести, отвыкли или, лучше сказать, с легким сердцем отказались от кропотливой проверки фактов. Мы строим окончательные выводы на основе зыбких впечатлений. О самом сложном политическом событии мы составляем себе мнение, подхватив пущенный кем-то слух на перекрестке улицы в ветреный день. Самую серьезную книгу, полную новых мыслей, обдуманных и увязанных трудом многих лет, мы оцениваем, проглядев несколько страниц сквозь плавающий перед глазами дым сигары. В порицании наше легкомыслие особенно ошеломительно. С какой непринужденностью мы объявляем: «Этот — дурак!», «Тот — негодяй!» Правда, слова «Это гений» или «Это святой» мы выговариваем лишь после некоторого внутреннего сопротивления. Но если хорошее пищеварение или свет майского солнца настраивают нас на благожелательный лад, мы с той же поразительной самоуверенностью, едва бросив беглый взгляд на избранника, даруем ему венец или ореол. И вот уже у всех на устах украшенный лаврами или окруженный нимбом гороховый шут.

Так мы целый божий день навешиваем ярлыки на спины людей и на изнанку вещей. Нет поступка, дела рук человеческих, личности, о которых мы не были бы готовы с апломбом высказать свое решительное мнение. А между тем мнение это основано лишь на одной, далеко не самой существенной черте этого поступка, дела, личности, только потому что именно эта черта случайно попала в поле нашего скользящего мимо взгляда. По одному жесту мы судим о человеке. По одному человеку оцениваем народ. Помню, некий ученый англичанин, сотрудник многих обозрений, член нескольких академий, с которым мне пришлось путешествовать по Азии, считал всех французов — от сенаторов до дворников — «грязнулями и воришками»! Почему, как ты думаешь, Бенито? А потому, что в доме у его свекра служил лакей, родом предположительно из Дижона, который не менял воротничков и таскал сигары. Этот ученый англичанин — отличный образец нынешней позорной манеры делать обобщения.

И кто же укоренил в нас это прискорбное легкомыслие?

Газета. Каждое утро газета обрушивает на читателей со своих полос — начиная с хроники и кончая объявлениями — пенящийся каскад легковесных суждений, сымпровизированных накануне вечером или в полночь, под шип газа и аккомпанемент острот, пресимпатичными молодыми людьми, которые вбегают в редакцию, хватают лист бумаги и, даже не сняв шляпы, двумя росчерками пера выносят суждение по всем вопросам неба и земли. Идет ли речь о перевороте в государстве, о прочности банка, о цирковой феерии, о железнодорожном крушении — перо, брызнув чернилами, одним махом выносит приговор. Ничего не надо изучать, ничего не надо проверять, ни в чем не надо убеждаться. Не далее как в воскресенье, Бенто, осведомленная парижская газета в статье о политическом и экономическом положении Португалии авторитетно утверждала, что в Лиссабоне отпрыски самых знатных фамилий служат носильщиками в таможне и в конце каждого месяца посылают своих лакеев за получкой! Что скажешь? Наследники исторических домов Португалии таскают на спине бочки с маслом по платформе таможни и держат слуг, чтобы посылать их за своим жалованьем... Эти бочки, эти наследники, эти лакеи, прислуживающие носильщикам — не правда ли, прелестная фантастическая таможня, не столько из Тысяча и одной ночи, сколько из Тысяча и одной брехни. И такую информацию дает солидная, богатая газета, располагающая энциклопедиями, географическими картами, статистиками, телефонами, телеграфом, образованными и хорошо оплачиваемыми сотрудниками, которые знают Европу, состоят в академиях моральных и социальных наук, законодательствуют в Сенате! И ты, Бенто, со своей газетой, снабженной такими же энциклопедиями и телефонами, собираешься по их примеру низвергнуть, строча пером, на Францию, и на Китай, и на всю горемычную вселенную (которая отныне становится твоим сырьем и твоей добычей) веские суждения вроде тех, что так безапелляционно преподносит почтенная газета относительно нашей таможни и нашей аристократии.

Это первый грех, и грех очень черный. Перейдем ко второму, еще более черному. Через газету и ее главный отдел — репортаж — ты будешь распространять у себя на родине, среди своих современников, все недуги тщеславия. Знаю, репортаж — полезный поставщик истории. Согласен: важно знать, какой был нос у Клеопатры, вздернутый или с горбинкой, потому что от его формы в течение некоторого времени (между битвой при

Филиппах и битвой при Акциуме) зависели судьбы мира. Чем больше деталей обнаружат рыщущие повсюду репортеры о господине Ренане, о его белле и мебели, тем больше будет данных у XX века, чтобы со всей возможной точностью восстановить личность человека, создавшего «Происхождение христианства», и тем самым для понимания его сочинений. Но так как репортаж посвящается теперь не тем, кто влияет на судьбу земного шара, и не тем, кто направляет мысли человечества, а, по библейскому выражению, «судьбе и жизни пустых людей», всяких жокеев и даже убийц, то неразборчивая гласность мало способствует собиранию исторических документов и много, бесстыдно много, — распространению тщеславия.

В самом деле, газета, словно кузнечный мех, неутомимо раздувает человеческую суетность. Конечно, тщеславие существовало во все времена. Уже плаксивый Соломон жаловался на это. Из-за тщеславия погиб Алкивиад, может быть, величайший из греков. Однако, Бенито, никогда еще тщеславие не было столь универсальным двигателем мыслей и поступков, как в наш треклятый XIX век. В нынешнем шумном и пустом состоянии цивилизации все исходит из тщеславия, все ведет к тщеславию. И новая форма тщеславия у современного человека состоит в том, чтобы увидеть в газете упоминание своей славной персоны и свое имя, напечатанное без сокращений. Попасть в газету! Вот к чему стремятся люди в наши дни, вот в чем видят высшую награду! При аристократическом правлении они стремились заслужить милость короля или хотя бы его улыбку. В современных демократиях большинство смертных добиваются, чтобы их в семи строках пропечатала газета. Ради этих семи благословенных строчек люди совершают всякие деяния — даже добрые. Даже добрые, Бенито! Наш щедрый друг Z жертвует семь тысяч рейсов на детские ясли — единственно затем, чтобы газета прославила эти семь тысяч рейсов нашего щедрого друга Z. И даже не надо много меда и ладана в этих семи строках: достаточно, если имя напечатано на видном месте, жирным шрифтом, той черной газетной краской, которая влечет сильнее, чем в прежние времена влек золотой ореол святости. Нет сословия, которое не было бы заражено жаждой рекламы. Хворь эта одинаково точит как тех, кто живет для светской суеты, так и тех, кто, казалось бы, ищет в жизни лишь единения и тишины...

У нас теперь пост (среда первой недели поста — и, видимо, поэтому я взялся читать тебе нравоучения). Так вот, в эти

постные дни братья доминиканцы выходят из своих монастырей и читают проповеди со всех парижских кафедр. Спрашивается, к чему эти сенсационные проповеди, насквозь мирские, насквозь театральные, с изложением любовной психологии, с игрой в евангельский анархизм?.. Они настолько скандальны, что Париж охотнее бежит в собор Богоматери на проповедь доминиканца, чем во Французскую Комедию на спектакль с Кокленом. А дело в том, что монахи, сыны святого Доминика, желают заслужить семь строчек в бульварных газетах; слава лицедеев не дает им спать. Газета простирает над миром свои два крыла, испещренные черными значками и подобные тем черным крыльям, с которыми иконописцы XV века изображали Похоть или Обжорство. И человек кидается к газете и забирается под сень двух ее крыл, ибо эти крылья могут поднять его на вершины мелочной славы, разнести его имя в звучном воздухе. Ради этой мелочной славы мужчины губят себя, женщины теряют стыд, политики преступают законы, художники изощряются в экстравагантности, ученые выдвигают несуразные теории, и отовсюду, из всех щелей, лезет улюлюкающая свора шарлатанов... (Право, я ударяюсь в пафос и многоглаголанье... Но все это так и есть, Бенто!) Посмотри сам, сколько на свете людей, которые предпочитают поношение безвестности (пишущая братия, поэтессы, дантисты и др.). Даже преступление жаждет семи строк, которые заклеили бы его! Некоторые убийцы убивают, чтобы попасть в газету. Древний инстинкт самосохранения уступает новому инстинкту газетной славы; и иной дуралей, при виде пышных похорон с грудями венков, вереницей колясок и потоками ораторских слез, задумчиво облизывается и завидует покойнику!

Этим летом я как-то поутру зашел в таверну на Монмартре купить коробок спичек. У цинковой стойки, на которой уже были выставлены два стакана белого вина, поместился какой-то забулдыга; приплюснутый нос, висячие щетинистые усы, меховая шапчонка на голове — по всем признакам он казался (да и был в действительности) гунном, уцелевшим пережитком орд Алариха. Этот субъект с торжеством кричал, обращаясь к безбородому испитому бродяге и тыча ему в лицо газетный лист:

— Ей-богу, правда, вот гляди, здесь! Всеми буквами! Второго столбец, наверху! Вот: «Вчера некий бесстыжий и наглый негодяй...» Это про меня! Написано всеми буквами!

И при этом он победоносно озирался. Вот тебе, как принято теперь выражаться, «состояние духа». И ты, Бенто, будешь создавать такие состояния.

А теперь, последний, чернейший грех. Основывая новую газету, ты создаешь новый очаг нетерпимости. Вокруг себя, своей группки, своих единомышленников ты воздвигнешь стену из мелкого, крепко сцементированного камня; внутри этой небольшой крепости, на которой ты водрузишь свое знамя с неизменным девизом «Беспристрастие, бескорыстие» и т. д., заключены, если верить Бенто и его газете, все достоинства, весь разум, все знания, вся энергия и вся гражданственность мира. Вне этой стены — опять же если верить Бенто и его газете — обретаются, естественно, только глупость, низость, инертность, эгоизм, торгашество. Того требует дух групповщины (в угождение тебе я понимаю групповщину в самом широком смысле, с включением литературы, философии и всего прочего). Дух групповщины по необходимости обязывает тебя проводить вышеуказанное смехотворное распределение пороков и добродетелей. С того момента, как ты вступишь в газетную битву, ты не сможешь допустить и мысли, что разум, или справедливость, или законность существуют в лагере тех, против кого ты выпускаешь свистящую шрапнель прилагательных и глаголов. В противном случае если не совесть, то простое чувство приличия вынудило бы тебя перескочить через стену и подать руку тем, кто прав, но кого ты обзываешь злодеями, лгунами, мерзавцами и про кого говоришь, что они заслуживают свинцовых пуль, которыми ты их убиваешь. И весь ты, Бенто, — от подошвы твоих башмаков до твоей лысеющей макушки, — увязнешь в болоте нетерпимости. Всякую возникшую за стеной мысль ты объявишь зловредной, даже не дав себе труда уразуметь ее, и это лишь потому, что она родилась по ту сторону стены, среди отверженных, а не по эту сторону стены, среди праведных. Начнут ли «они» воздвигать какое-нибудь сооружение, Бенто не пожалеет ни кулаков, ни прозы, чтобы оно рухнуло: и если, бросая туда камни, ты случайно увидишь, что сооружение это красиво и полезно, ты с еще большим жаром доверишь дело уничтожения, потому что твоим сторонникам было бы обидно, что прекрасное возникло у их врагов и живет. Все пребывающие за стеной будут для тебя грешниками, и только. И если ты вдруг увидишь среди них святого Франциска Ассизского, раздающего бедным последние оболочки Порциункулы, ты зажмуришь глаза, чтобы дух твой не поколебался, и злобно закричишь: «Этот бродяга делит с другими попрошайками украденные деньги!»

Таков будешь ты, такова будет твоя газета. И всякий, кто ее купит, усвоит ту же мораль и станет подобен тебе. Газета



источает нетерпимость, как перегонный аппарат выделяет алкоголь, и каждое утро толпа отравляется этим соблазнительным ядом. Только из-за газет обостряются во всем мире застарелые конфликты, и души, отученные от евангельской кротости, делаются все непроницаемой для снисхождения. Общение смягчает и сглаживает все разногласия между людьми; так река сглаживает и обкатывает камни, влекущиеся по дну ее русла. Старая и делаясь культурней, человечество постепенно стало бы общительным и мягкосердечным и установило бы мир, — но газеты каждое утро вновь и вновь воскрешают ненависть между идеологиями, классами, нациями, науськивая их друг на друга, пока они не взбесятся и не начнут кусаться.

Ныне газета взяла на себя обязанности усопшего сатаны, унаследовав и его вездесущность. Она мать лжи, она мать раздора. Именно она в одних разжигает самые непомерные аппетиты, а другим поставляет кирпич и известку, чтобы воздвигнуть стену самого бессмысленного упорства. Заметь: когда возникает стачка рабочих, или спор между двумя нациями, или столкновение двух враждебных теорий, первое естественное движение людей, смягченных цивилизацией в долгим общением, воскликнуть: «Мир! Будем благоразумны!» — и протянуть друг другу руки тем древним жестом, который символизирует договор. Но на сцену является газета, свирепая, как адская фурия: она разъединяет тех, кто готов был примириться, выпускает в их души яд нетерпимости, толкает их на драку, уродуя землю суетолокой и пылью сраженья.

Газета убила мир на земле. Она не только воскрешает уже забытые распри, подобные давно остывшему пеплу в очаге, но раздувает их в новое бешеное пламя ненависти и выдумывает новые причины для вражды и травли. Возьми для примера нарождающийся у нас на глазах антисемитизм. Поверь, раньше чем истечет нынешний век, антисемитизм возродит на земле жестокие, анахроничные преследования, какие бывали только в пору средневековья. Мало того: газета...

Но чу! Одиннадцать часов. Мои старые часы, сыграв мемуэт Глюка, нежно бьют одиннадцать раз. Пусть это письмо останется неоконченным... Оно ужасно и многословно, как письмо Тиберия, *verbosa et tremenda epistola*. Пора с ним покончить, чтобы успеть до завтрака с наслаждением просмотреть сегодняшние газеты.

Твой *Фрадики*.

Кларе ...  
(С франц.)

*Париж, октябрь.*

Моя горячо любимая Клара!

Полное жалоб, чуть ли не ворчливое, какое-то траурное, пришло ко мне с первыми октябрьскими холодами твое письмо. И чем, моя милая, ты недовольна? Тем, что я бессердечен, как Трастамара или Борджиа, и за последние пять дней (пять коротких осенних дней) не прислал тебе ни одной строчки в подтверждение истины и без того очевидной и известной тебе, как солнце на небе: что только о тебе я думаю, только тобой живу! Но разве ты сама не знаешь, о возлюбленная, что мысль о тебе бьется в моей душе так же естественно, как кровь в сердце? Что, как не твоя любовь, поддерживает во мне жизнь и управляет ею? Неужели тебе нужно каждое утро письменное удостоверение о том, что страсть моя живет, цветет и шлет тебе привет? Зачем это? Чтобы успокоить твои сомнения? Боже! Уж не для того ли, чтобы потешить твою гордость? Ты знаешь, что ты богиня, и требуешь от того, кто верит в тебя, непрестанныго каждения и славословий! А ведь святая Клара, твоя патронесса, которая была великой святой, происходила из знатного рода, тоже была красавицей, дружила с Франциском Ассизским, пользовалась доверием Григория IX, основала не один монастырь, служила сладостным источником благодати и чудес, — даже она не требует, чтобы ее память праздновалась больше, чем один раз в году — двадцать седьмого августа!

Конечно, я шучу, о моя святая Клара, мое божество, в которое я верую! Нет! Я не послал тебе этих ненужных строк только потому, что на меня внезапно обрушились всевозможные беды: глупейший насморк, сопровождаемый отупелостью, меланхолией и чиханьем; дурацкая дуэль, на которой я с неизреченной скукой фигурировал в роли секунданта (окончилась она тем, что пострадала ветка багрянника, срезанная пулей); и в довершение зла, из Абиссинии вернулся один мой приятель, который дошел до такого эфиопства, что заставляет меня слушать с покорно-удивленным видом свои рассказы о караванах, опасных переделках, любовных приключениях и львах! Вот почему моя бедная Клара осталась в своем лесном уединении без исписанного моей рукой листка, столь же ненужного для спокойствия ее сердца, как листья окружаю-

ших ее деревьев — наверно, они уже увяли и пляшут на ветру.

Не знаю, как обстоит дело в твоих лесах, а здесь, в моем бедном садике, листья пожелтели и валяются на мокрой траве. Чтобы утешиться и забыть о погибшей зелени, я велел растопить камин и весь вчерашний вечер читал древнюю хронику Фернана Лопеса, средневекового летописца моей родины. В ней повествуется о короле, носившем женственное прозвище «Красивый». Из великой любви он презрел принцесс Кастилии и Арагона, растратил коронные сокровища, лишился вассальных земель и крепостей, претерпел нелюбовь своего народа, стал жертвой заговоров в мятежей и чуть не погубил вообще все королевство! Я и раньше знал эту хронику, но только теперь понял короля. И я от всей души завидую ему, моя прекрасная Клара! Кто любит, как он (или как я), должен чувствовать великое удовлетворение, когда может пожертвовать первыми принцессами христианского мира, коронными сокровищами, любовью народа и мощью своего королевства ради двух глаз, задумчивых и нежных, улыбающихся тому, чего ожидают, и еще тому, что сулят... Поистине, любить должен только король, потому что только он может доказать силу своей любви великолепием жертвы. Но простой вассал вроде меня, без замка и без дружины, — что у него есть благородного, роскошного, прекрасного, что можно было бы принести в жертву? Время, счастье, жизнь? Жалкие блага! Все равно что протянуть на ладони горстку праха. Такая жертва даже не увековечит в истории имя возлюбленной.

Кстати об истории. Я очень рад, моя прилежная Клара, что ты читаешь жизнь Будды. Ты с огорчением пишешь, что он очень похож на Иисуса, только менее понятен. Но, моя любовь, необходимо извлечь бедного Будду из-под слоя легенд и рассказней, какими завалило его на протяжении веков воображение Азии. Если историю Будды освободить от мифологии и представить его жизнь в исторической наготе, такой, какою она была, то мы увидим: никогда более прекрасная душа не посещала нашу землю, и никакая героическая добродетель не сравнится с «ночью отречения». Иисус был пролетарием, нищим; он не владел ни полем, ни виноградником, не имел никакой земной привязанности и бродил по дорогам Галилеи, увещевая людей оставить свои очаги и свое имение, предаться одиночеству и нищете и уподобиться ему, Иисусу, чтобы в награду проникнуть в блаженное, сверхъестественное царство на небесах. Сам он ничем не жертвовал, а только других побуж-

дал к жертве, чтобы низвести их земное величие до уровня своего смирения. Будда же, напротив, был царь и, как принято в Азии, властелин с неограниченным могуществом, с безмерными богатствами; он женился по страстной любви, и в браке у него родился сын, отчего любовь его к жене стала еще сильнее. И вот, этот царь, этот супруг, этот отец, из любви к людям оставляет свой дворец, обожаемую супругу, малютку-сына в перламутровой колыбели и, надев власяницу, уходит в обличии нищего просить милостыню на дорогах и проповедовать отказ от желаний и наслаждений, нежную любовь ко всем живым тварям, неустанное самосовершенствование жалостью, презрение к аскетизму, напрасно мучающему себя, неиссякаемое, все искупающее милосердие в спокойное приятие смерти...

На мой взгляд (насколько можно судить о столь возвышенных предметах, сидя в Париже, в XIX веке, и с насморком), жизнь Будды более достойна восхищения. А теперь сравним то, чему учили эти два божественных учителя. Один, Иисус, говорит: «Я сын бога и требую от каждого из вас, смертных людей, чтобы вы творили добро, пока не кончится ваш недолгий земной путь. Тогда, в награду, я дам каждому из вас, в меру его личной заслуги, высшее существование в бесконечном времени и беспредельном блаженстве. Вы будете жить на небесах, в доме моего отца». Будда же говорит просто: «Я нищий монах и прошу вас: будьте добрыми при жизни; в награду за это от вас родятся другие, более добрые, а от них — еще более добрые и прекрасные люди, и так, с каждым поколением, все больше добродетели будет скапливаться в мире, и мало-помалу на земле установится всеобщая добродетель». Согласно учению Иисуса, праведность праведника приведет лишь к эгоистическому благу для него одного; по учению Будды, праведность праведника пойдет на пользу существу, которое сменит его на земле, потом другому, рожденному от него за время земного существования — и все это на благо всей земли. Иисус создает аристократию святых и забирает ее на небо, где он — бог, а они его свита. И нет от них прямой пользы для мира, ибо мир по-прежнему будет страдать от неумения уменьшающейся доли зла. А Будда, благотельно накапливая добро, живущее в любой душе, творит новое человечество, которое с каждым поколением становится лучше и когда-нибудь придет к совершенству, и добродетель распространится на весь мир. Зло исчезнет с лица земли, а Будда останется все тем же нищим монахом, просящим милостыню на краю каменистой дороги. Я, моя прелесть, за Будду. Так или иначе, эти два Учителя со-

единили в себе, на благо человечеству, самую великую сумму божественного, какую может вместить человеческая душа. Впрочем, все это сложно, и ты поступила бы разумно, забыв Будду с его буддизмом. Раз твои леса так прекрасны, впитывай в себя их живительную силу и аромат. Будда — достояние города и Коллеж де Франс. В деревне же истинное познание должно падать к нам с деревьев, как во времена Евы. Один вязовый лист даст тебе больше мудрости, чем все бумажные листы, вместе взятые; и уж наверняка гораздо больше, чем я со своими поучениями и педантскими экскурсами в сопоставительное изучение религий, что совершенно неуместно под взглядом твоих прекрасных глаз, таких задумчивых и нежных.

Почти вся бумага исписана, а я еще ничего не рассказал тебе, милая моя изгнанница, о парижских новостях, акта Urbis. (Час от часу не легче, теперь пошла латынь!) Новостей мало, и интересного в них тоже мало. Идет дождь; госпожа де Жуар вернулась в Париж, менее седая, но более жестокая, и пригласила нескольких несчастных (самый несчастный из них — я) слушать, как барон Фернэ будет читать три главы из своего последнего покушения на Грецию. В газетах появилось новое предисловие господина Ренана, в котором нет ничего, кроме самого господина Ренана, и предстает он, как всегда, в образе чувствительного и ученого викария Всеблагого Разума; наконец, у всех на устах брак по страсти и по расчету статуюобразного виконта де Фонблан с барышней Деграв, которая до сих пор была носатенькой, костлявенькой и желтозубой, но вдруг, получив двухмиллионное наследство от пивовара, приятнейшим образом округлилась и улыбается вполне ослепительно. Вот и все, моя любимая... И пора послать тебе в последней строчке мою тоску по тебе, мою неутолимую жажду, и все то жгучее, нежное и безыменное, чем полно мое сердце и что никогда не оскудевает, сколько бы раз я ни повергал его к твоим ногам, целуя их с покорностью и верой.

*Фрадики.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

---

## ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

Образ Карлоса Фрадики Мендеса был совместным детищем Эсы де Кейроша, Антеро де Кентала и Ж. Батальи Рейса. Молодые литераторы, входившие в так называемый «Лиссабонский сенакль», создали воображаемого «сатанического» поэта, придумали ему биографию и в 1869 году опубликовали в газете «Сентябрьская революция» несколько стихотворений, подписав их именем «К. Фрадики Мендес». Автором «Серенады Сатаны звездам» был сам Эса де Кейрош; это стихотворение воспроизведено полностью в предисловии Ж. Батальи Рейса к книге Эсы «Варварские рассказы», выпущенной в 1905 году. Другие стихотворения принадлежали перу Антеро де Кентала и были позднее опубликованы в его хронике «Уличные поэмы», напечатанной в газете «Первое января» 5 декабря 1869 года.

Фрадики Мендес этого периода был воплощением духа «Лиссабонского сенакля» со свойственной ему безудержной свободой мысли, анархической революционностью, сатанизмом, богемой, свирепым отрицанием мещанской ограниченности, которой была заражена Португалия.

Позднее, в совместном произведении Эсы де Кейроша и Рамальо Оргигана «Тайна дороги в Синтру» (1870—1871) вновь появляется Карлос Фрадики Мендес — но в несколько ином обличье: это денди и «аристократ духа».

Лишь значительно позже образ Фрадики Мендеса отливаётся в свою окончательную форму. 23 мая 1888 года Эса пишет Рамальо Оргигану из Бристоля, где находился на консульской службе:

«У меня тут есть для тебя, то есть для «Репортера», целая гора прозы. Собственно говоря, это готовая книга, но такая книга, которую можно печатать в виде еженедельных выпусков с продолжением, не нанося этим ущерба ее единству и интересу. Ты все поймешь, когда узнаешь, что она называется «Письма Фрадики Мендеса». Как ты уже догадался, я намерен сделать с Фрадики (надеюсь, ты не забыл этого старого приятеля?) то, что нынче принято делать со всеми великими людьми: напечатать его частные письма. Если помнишь, в наше время Фрадики был немного комичен. Новый Фрадики — совсем другое дело; это в полном смысле слова выдающаяся личность: мощный интеллект, деятельный темперамент, утонченная и восприимчивая душа... словом, демон!..»

В 1888 году в лиссабонском «Репортере», где сотрудничал Рамальо, печатались первые шесть глав «биографического очерка» о Фрадики Мендесе. Одновременно этот очерк и три письма появились в Бразилии, в «Газета де нотисиас», выходявшей в Рио-де-Жанейро.

Дальнейшие публикации «Писем» Эса приберег для своего любимого детища — созданного им в Лиссабоне литературного и общественно-политического журнала «Ревиста де Португал», просуществовавшего с 1889 по 1892 год. Здесь появились еще девять писем, которые были приняты читателями с большим интересом. Эса писал жене: «Лиссабонские дамы в восторге от Фрадики. Можно сказать, он имеет огромный успех. Его имя у всех на устах; о нем толкуют и в кафе, и в модной лавке, и в фойе театра, и на углу улицы. Но все убеждены, что Фрадики действительно существовал, и всеобщие симпатии обращены, увы, не ко мне, а к нему».

После закрытия журнала «Ревиста де Португал», Эса печатает остальные письма Фрадики Мендеса в той же бразильской «Газета де нотисиас». В течение 1899 и 1900 годов писатель подготовил издание «Переписки Фрадики Мендеса» в виде целостной книги в двух частях: первая часть содержала биографический очерк из восьми глав, вторая часть — шестнадцать писем, отобранных из общего числа более двух десятков, которые публиковались в различных газетах Португалии и Бразилии. Однако Эсе де Кейрошу не суждено было увидеть свою новую книгу: она вышла в свет уже после его смерти.

Письма, не включенные автором в «Переписку Фрадики Мендеса», публиковались впоследствии в разных изданиях: в 1912 году в томе «Последние страницы» было напечатано письмо Фрадики Мендеса о Бразилии. Еще позже, в 1929 году, был опубликован том «Неизданные письма Фрадики Мендеса и забытые страницы». Сюда вошли еще шесть писем: 1 — портному Штурму, 2 — Полю де Варжет, молодому поэту-символисту, 3 — госпоже де Жуар, о любви, 4 — племяннику Мануэлу,



о поэзии, 5 — об «археологических» романах, 6 — о языке художественной литературы.

Первый и единственный перевод «Переписки Фрадики Мендеса» на русский язык вышел в свет в 1923 году. Он выполнен ленинградскими филологами-португалистами Г. Л. Лозинским и Е. Н. Лавровой. Составители сочли естественным, как они пишут, включить в свое издание письмо о Бразилии, появившееся в печати в 1912 году. О существовании остальных неизданных писем они в 1923 году не могли знать или не могли достать тексты, разбросанные по страницам газет. Переиздавая ныне в «Библиотеке всемирной литературы» перевод 1923 года в новой редакции, издательство «Художественная литература» считает целесообразным воспроизвести книгу в том составе, в каком ее подготовил к печати сам автор. Прочие же «Письма», не включенные в нее Эсой по тем или иным причинам, должны, по-видимому, найти себе место в других публикациях.

В примечаниях к настоящему изданию частично используется комментарий, сделанный для издания 1923 года Г. Л. Лозинским и Б. А. Кржевским.

Стр. 449. *«Сентябрьская революция»* — газета, основанная в 1840 г. и отстаивавшая принципы либерально-демократического движения 1836 г. (движение сентябристов). После 1852 г. перешла в руки «возрожденцев».

*...я и мои товарищи по «Сенаклю»...* — Речь идет о так называемом «Лиссабонском сенакле» — группе выдающихся молодых литераторов и философов, составлявших в конце 60-х и начале 70-х годов передовой отряд португальской интеллигенции. Наименование «сенакль» (то есть «содружество посвященных», «союз единоверцев») они присвоили своему кружку по образцу клуба французских поэтов-романтиков 1823—1828 гг. во главе с Шарлем Нодье и Виктором Гюго, которые впервые применили слово «сенакль» к литературной группировке. В «Лиссабонский сенакль» входили Эса де Кейрош, поэты Антеро де Кентал и А. Герра Жункейро, историк Оливейра Мартинс и другие.

*...увлеченные эпическим лиризмом «Легенды веков» — «книги, принесенной к нам могучим, порывом ветра с Гернсея»...* — «Легенда веков» — цикл стихотворений Виктора Гюго, первая серия которого вышла в свет в 1859 г. В предисловии автор указывал, что «Легенда веков» должна отразить весь исторический путь нравственного совершенствования человечества от первобытной жестокости к доброте и милосердию. После переворота 1851 г. Гюго, непримиримый борец за республику и враг «Наполеона Малого», был изгнан из Франции и жил сначала в Брюсселе, затем на острове Джерси и, наконец, на острове Гернсе в Ла-Манше.

Стр. 450. *...увязавшись за ордами Алариха...* — Имеется в виду Аларих II (376—410), вождь вестготов. Он завоевал часть Греции, осадил Константинополь, дважды вторгался в Италию, в 410 г. захватил и разграбил Рим.

*Парцифаль* — один из героев бретонского, или Артуровского, цикла средневековых романов, слившегося с христианским преданием о святом Граале, то есть чаше, в которую Иосиф Аримафейский, похоронивший у себя в саду Иисуса Христа, собрал несколько капель его крови. Во искупление некоей мистической вины рыцарь Парцифаль должен был разыскать святой Грааль, однажды увиденный им в волшебном замке.

*...начитанный в Спинозе и Лейбнице...* — Барух Спиноза (1632—1677) — голландский философ, рационалист и пантеист. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ-идеалист.

*Леконт де Лиль* Шарль (1818—1894) — французский поэт, глава Парнасской школы.

*Бодлер* Шарль (1822—1867) — французский поэт.

Стр. 451. *...Нынешняя позитивная, деловая молодежь, которая... следит за биржевым курсом и читает Жоржа Онэ...* — Жорж Онэ (1848—1918) — французский писатель и драматург, пользовавшийся большим успехом у среднего читателя. Был выразителем мещанской узости взглядов.

*Вторая империя* — режим Наполеона III, пришедшего к власти во Франции после путча в декабре 1851 г. Вторая империя просуществовала девятнадцать лет. Конец ей положила франко-прусская война, затеянная самим Наполеоном III.

*Копте* Франсуа (1842—1908) — французский поэт-парнасец.

*Дьеркс* Леон (1838—1912) — французский поэт, принадлежавший к Парнасской школе.

*Малларме* Стефан (1842—1898) — французский поэт, один из основоположников символизма.

*...которая... питается Спенсером и Тэнном...* — Герберт Спенсер (1820—1903) — английский философ, создатель теории эволюции. Ипполит Тэн (1828—1893) — французский философ, историк и критик, автор «Истории английской литературы», «Философии искусства» и других трудов.

Стр. 452. *Святой Симеон Столпник* (356—459) — христианский отшельник и аскет, родом из Киликии (в турецкой Азии). В 423 г. придунал столпничество, заключавшееся в том, что подвижник должен был стоять или сидеть на верхней площадке широкого столба, врытого в землю.

*Хуан Понсе де Леон* (1460—1521) — испанский конкистадор, открывший в 1512 г. Флориду. Умер он не в момент этого открытия (как сказано в романе), а девятью годами позже, на Кубе.

Стр. 453. ...*Бодлер показывает своей возлюбленной гниющие останки собаки...* — Ошибка Эсы де Кейроша: в стихотворении «Падаль» не сказано, о каком именно животном идет речь.

*Ламартин* Альфонс (1791—1869) — французский поэт-романтик, историк, политический деятель.

*Делавинь* Казимир (1793—1843) — французский поэт и драматург.

«*Памятный альманах*» — Речь идет, по-видимому, о литературном «Португальско-бразильском памятном альманахе», который был основан в 1851 г. и долгое время служил прибежищем для португальских и бразильских рифмоплетов.

«*Обручение в могиле*» — баллада португальского поэта-романтика Антонио Аугусто Соареса де Пассоса (1826—1860).

«*Аве, Цезарь!*» — стихотворение португальского романтика Жозе да Силва Мендес Леала (1818—1886).

Стр. 454. *Сан-Карлос* — см. прим. к стр. 56.

Стр. 455. ...*которую один поэт с Терсейры называл «Девой из Оссиана»...* — Терсейра — один из девяти островов Азорского архипелага. «Поэмы Оссиана» — сборник эпических песен, опубликованный в 1760 г. в Эдинбурге никому дотоле не известным шотландцем Джеймсом Макферсоном (1736—1796); в предисловии говорилось, что Оссиан — шотландский бард III в. и что его песни переведены Макферсоном с рукописи, написанной на гэльском языке. Подлинность «Поэм Оссиана» уже тогда подвергалась сомнению; тем не менее эти поэмы оказали огромное влияние на всю европейскую литературу конца XVIII и начала XIX в. благодаря их элегическому и сумрачному колориту в духе раннего романтизма.

*Клопшток* Фридрих (1724—1803) — немецкий поэт.

...*якобинец, в 1830 году дравшийся на баррикадах Сен-Мерри...* — Речь идет о баррикадных боях между республиканцами и жандармерией, имевших место в Париже на улицах Сен-Мерри, Сен-Мартен и Обри-ле-Бушон в июне 1832 г.

*Филито Элизио* — псевдоним португальского поэта-аркадца Франсиско Мануэла до Насименто (1734—1819), известного своими переводами поэтов античной древности и французских классиков.

«*Критика чистого разума*» — произведение немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804).

...*к метафизическим ересям тюбингенских профессоров...* — Университет в городе Тюбингене в Германии основан в 1477 г. В 1534 г. прикнул к Реформации. Меланхтон, теоретик протестантского вероучения и личный друг Мартина Лютера, читал в этом университете лекции. В XIX веке там учились Гегель и Шеллинг.

Стр. 456. *Пенедо де Саудадес* (Утес печали) — живописный холм

в восточном предместье Коимбры, любимое место прогулок местных жителей и студентов, обучающихся в университете в Коимбре.

*...трудился во спасение человечества вместе с Персиньи, Морни и принцем Луи-Наполеоном...* — Персиньи Жан-Жильбер-Виктор Фиален де (1808—1872) — французский политик, ярый бонапартист. Морни Шарль-Огюст-Луи-Жозеф (1811—1865) — внебрачный сын королевы Гортензии и, следовательно, единоутробный брат принца Луи-Наполеона. Способствовал бонапартистскому путчу 1851 г. и установлению империи Наполеона III. Эса де Кейрош иронически квалифицирует деятельность этих могильщиков французской демократии как «труд во спасение человечества».

*Крузадо* — см. прим. к стр. 100.

*Королевство Обеих Сицилий* — или Неаполитанское королевство, состояло из двух частей: материковой (южная оконечность Италии) и островной (Сицилия) — и существовало как самостоятельная политическая единица под властью королевской семьи из династии Бурбонов. Все попытки либерализации этого тиранического режима свирепо подавлялись. В 1860 г. Джузеппе Гарибальди со своими волонтерами высадился на острове Сицилия и предпринял завоевание Неаполитанского королевства с целью присоединения его к Италии. 20 марта 1861 г. эта кампания завершилась полной победой.

*Он проделал всю абиссинскую кампанию при штабе старика Нэпир...* — Роберт Корнелис, барон Нэпир (1810—1890) — английский генерал. В 1867 г. он возглавил армию, посланную в Абиссинию под предлогом освобождения нескольких англичан, содержавшихся в плену у негуса Теодора II в городе Магдале. В 1868 г. Нэпир после недолгой осады взял город и увез в Англию детей негуса, покончившего с собой.

*Мадзини Джузеппе (1805—1872) — борец за объединение Италии, основатель тайного общества «Молодая Италия».*

Стр. 457. *...вроде апостола Иоанна на острове Патмосе.* — Патмос — один из Спорадских островов в Эгейском море, место ссылки у древних римлян. Здесь, по преданию, апостол Иоанн создал Апокалипсис.

*Алкивиад (451—404 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель и военачальник, воспитанник Перикла, ученик Сократа, блестяще одаренный человек. Его триумфы вызвали ненависть завистников. Умер в изгнании от руки убийцы.*

*Новалис — псевдоним немецкого поэта-романтика Фридриха фон Гарденберга (1772—1801).*

*Синтра* — см. прим. к стр. 67.

Стр. 458. *...между Афинами и Элевзисом...* — Элевзис — город в древней Аттике, где находился знаменитый храм Деметры и справлялись элевзинские мистерии.

Стр. 459. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — государственный деятель, ученый и писатель Англии. Занимал высшие государственные должности и нередко жертвовал своими научными занятиями во имя честолбия. В известнейшем своем произведении «Новый Органон» Фрэнсис Бэкон обосновывает эмпирический метод научного исследования.

*Белен* — пригород Лиссабона, где находятся замечательные памятники португальской архитектуры: королевский дворец и монастырь иеронимитов.

Стр. 460. *Лукреций* (99—55 гг. до н. э.) — римский поэт, автор философской поэмы «О природе вещей», представляющей собою дидактическое и лирическое изложение философии Эпикура.

Стр. 461. *Эфеб.* — В древней Греции — юноша от 16 до 20 лет, питомец «эфебии», то есть учебного заведения, где воспитывали мальчиков, развивая в них ловкость, гибкость, гармонию движений.

...останки *Рамзесова летописца.* — Рамзес — имя многих фараонов Древнего Египта. Здесь речь идет о летописце Рамзеса II (1301—1235 гг. до н. э.). Мумия самого Рамзеса II также была обнаружена при раскопках 1881 г. и хранится в Каирском музее.

Стр. 462. *Возрожденцы* — см. прим. к стр. 66.

Стр. 463. *Себента* (буквально: «грязная», «засаленная»). — Так студенты называли черновые тетради и литографированные издания лекций.

*Святая Цецилия* — христианская мученица, непорочная девушка, казненная в 232 г. при римском императоре Александре Севере. Святая Цецилия считается покровительницей музыкантов и изображается с арфой в руках.

Стр. 464. *Падре Мануэл Бернардес* (1644—1710) — португальский поэт и философ, одна из выдающихся фигур португальской классики.

Стр. 465. *Буало* Никола (1636—1711) — французский поэт, моралист и сатирик, провозглашавший основным требованием литературы вкус, меру, норму. В своем «Искусстве поэзии» Буало сформулировал принципы классицизма.

Стр. 466. ...сыграл *бравурную партию из «Великой герцогини».* — Имеется в виду «Герцогиня Герольштейнская», оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

Стр. 467. *Мандови* — река в Гоа, бывшей португальской колонии на юге Индии.

Стр. 469. *Пракситель* — греческий скульптор IV в. до н. э. Статуя Афродиты его работы считались на протяжении всей античной древности непревзойденным образцом.

Стр. 471. *Лакония* — местность в юго-восточной части Пелопоннеского полуострова, на территории древней Спарты.

Стр. 472. *«Это было в Каире, в садах Шубре, когда кончался пост*

*рамадана...*» — Эса де Кейрош пародирует классический зачин «археологического» повествования, введенного в литературный обиход Г. Флобером. Роман Флобера «Саламбо» начинается словами: «C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar» («Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах у Гамилькара»).

Стр. 473. ...с автором «Мадемуазель де Мопен», старым паладином «Эрнани»... — Речь идет о Теофиле Готье (1811—1872), французском поэте и романисте. «Мадемуазель де Мопен» — роман Т. Готье, вышедший в свет в 1835 г. В молодости Т. Готье был страстным почитателем Виктора Гюго. На премьере драмы Гюго «Эрнани» в феврале 1830 г. в партере разыгралось настоящее сражение между приверженцами классического театра и сторонниками новой, романтической драмы, образчиком которой был «Эрнани». Теофиль Готье участвовал в схватке, ярко выделяясь в толпе своими длинными кудрями и красным шелковым жилетом.

Стр. 475. *Мушрабие* (арабск.) — выдающееся наружу окно с решеткой.

*Улема* (арабск.) — мудрец, ученый.

Стр. 476. *Моуджик* — восточный квартал Каира.

Стр. 478. *Альмея* (арабск.) — танцовщица и певица.

*Антар*, или Антара — арабский рыцарь и поэт VI в., автор воинственных стихов, один из популярнейших героев доисламской старины. Об Антаре донные поют песни, исполнители которых называются «антариями». Существует также «Роман об Антаре».

Стр. 479. ...когда столоничальники не спеша выходят из-под аркады... — На площади Террейро-до-Пасо (Дворцовой площади) в Лиссабоне, окруженной аркадой для защиты от солнца, расположены главнейшие присутственные места.

*Феллахи* — оседлые земледельцы, крестьяне в странах Арабского Востока.

*Магребинцы* — жители Магриба, то есть Запада, Западной Африки.

Стр. 480. ...скатываясь... к самому жалкому парнасцианству... — Речь идет о поэтической теории и практике «парнасцев», группы французских поэтов второй половины XIX в., которые, в противовес романтической раскованности, стремились к отточенной, правильной форме и эмоциональной сдержанности. Самые известные из парнасцев — Леконт де Лиль, Жозе Мария Эредиа, Катюль Мендес, Франсуа Коппе, Сюлли-Прюдом.

*И ибисы ... радостно взмахивали крыльями, словно посылая на крыши города свое вечернее благословение, как в те времена, когда еще были богами.* — В Древнем Египте ибисы считались священной птицей; вблизи городов, где создавались некрополи для священных животных,

устраивались кладбища и для ибисов. Бог луны и мудрости, Тот, изображался в виде человека с головой ибиса.

*...со времен диких пастухов, разрушивших Танис...* — Танис, город Древнего Египта, находившийся в дельте Нила, был разрушен во времена нашествия гиксов, или царей-пастухов, захвативших Египет и владевших им около пяти столетий, до середины XVI в. до н. э.

*...Амру, посланец Мухаммеда, и Людовик Святой, посланец Христа...* — Амр ибн-аль-Асый — арабский полководец первых времен Ислама. Около 640 г. вторгся в Египет и с 638 по 663 г. был наместником халифа в этой стране и насаждал в ней мусульманскую веру. Людовик XI по прозвищу Святой (1215—1270) — король Франции. В 1270 г. предпринял восьмой, и последний, крестовый поход против мусульман, высадился в Тунисе, но вскоре умер от чумы.

*...от словоохотливого Геродота до первого из романтиков, бледного поэта, поведавшего миру о страданиях Рене...* — Геродот (приблизительно 485—425 гг. до н. э.) — греческий историк, которого называют «отцом истории». Геродот много путешествовал, побывал в Египте. Франсуа-Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель, один из основоположников французского романтизма, автор романов «Атала», «Рене» и других.

Стр. 481. *Оливейра Мартинс* Жоакин Педро (1845—1894) — португальский публицист, историк, общественный деятель, участник «Лиссабонского сенакля», один из ближайших друзей Эсы де Кейроша, автор книг, составивших в свое время эпоху в изучении истории Португалии.

Стр. 482. *Рамальо Ортиган* Жозе Дуарте (1836—1915) — португальский писатель, близкий друг Эсы де Кейроша и его соавтор по роману «Тайна дороги в Синтру» и по фельетонам «Колбочки». Эса высоко ценил Рамальо Ортигана как юмориста и сатирика.

*Он фехтует, как кавалер ордена святого Георгия...* — Орденом святого Георгия, или орденом Подвязки, назывался один из английских рыцарских орденов, учрежденный в 1347 или 1348 г. королем Эдуардом III и состоявший всего из двадцати шести кавалеров во главе с самим королем.

*Автор «Смерти дон Жуана» и «Музы на каникулах»* — Аблио Герра Жункейро (1850—1923), португальский поэт, друг Эсы де Кейроша.

*Бруммель* Джордж (1778—1840) — прославленный лондонский денди, которого называли «королем моды».

Стр. 483. *Карлос Майер* — один из друзей Эсы де Кейроша, его одноклассник по университету.

*«Современные оды»* — сборник стихотворений Антеро де Кентала (1842—1891), португальского поэта, общественного и политического деятеля, близкого друга Эсы де Кейроша.

«Тан» — французская газета, основанная в 1861 г. и прекратившая свое существование в 1942 г., когда гитлеровская армия вступила в Лион, куда газета перебазировалась из оккупированного Парижа.

Стр. 485. ...*гобеленами Луки Корнелия...* — По видимому, речь идет о Мишеле Корнеле (1601—1664), родоначальнике целой династии французских художников, изготовлявших картоны для парижской гобеленовой мануфактуры.

Стр. 487. «*Аталия*» (или «Гофолия») — трагедия с хором Жана Расина (1639—1699).

Стр. 489. ...*тех, кто, не питая ненависти к Диане, идет... поджигать ее храм в Эфесе...* — Храм Дианы (Артемиды) в Эфесе, греческом городе на берегу Эгейского моря, считался одним из семи чудес света. Легенда гласит, что он был сожжен в 356 г. до н. э. неизвестным эфесским плебеем Геростратом, который совершил этот поступок из желания прославиться. Соотечественники Герострата запретили упоминать его имя, но оно все-таки стало достоянием истории.

*Amicus Mundas, sed magis arnica Veritas* («Свет мне дорог, но истина дороже») — перефразировка известного латинского изречения: *Amicus Plato, sed magis amica Veritas* («Платон мне дорог, но истина дороже»).

Стр. 491. ...*которые в праздники контистского календаря возжигают ладан и мирру на алтаре Человечества и венчают розами бюст Огюста Конта.* — Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, создатель позитивной философии, а также «позитивной религии». Предметом позитивного культа было «высшее существо», символизировавшее человечество. По контистскому календарю год разделялся на тринадцать лунных месяцев, и каждый месяц посвящался какому-нибудь великому человеку, которому подчинялись знаменитости меньшего значения, проявившие себя в той же сфере деятельности.

...*он целое лето прожил в Сео-де-Урхель, католической цитадели карлизма...* — Сео-де-Урхель — испанский город в провинции Лерида, один из центров карлизма в период второй Карлистской войны (1870—1876), последовавшей за революцией 1868 г. Карлисты — реакционная политическая партия, опиравшаяся на невежество и религиозный фанатизм северных провинций Испании.

*Карлейль* Томас (1795—1881) — английский писатель, историк, философ.

Стр. 492. *Бюффон* Жорж-Луи Леклерк, граф де (1707—1788) — французский натуралист и писатель. Его сочинения считаются образцом ясности и благородства слога.

Стр. 494. *Советник Акасио* — персонаж из романа Эсы де Кейроша «Кузен Базилио», тип тупого, самодовольного сановника.

*Афанасьевский символ веры* — основной догмат христианской



веры, сформулированный святым Афанасием (290—373), одним из отцов церкви. Афанасьевский символ веры выражен в молитве «Credo» («Верую»), первые слова которой, перефразированные Фради́ке Мендесом, гласят: «Credo in Deum, patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae...» («Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли...»).

Стр. 495. *Сабизм* — древняя религия, упоминаемая в Коране и уделявшая большое место культуре небесных светил.

...в школу ордена терциариев... — Орден терциариев (или «третий орден») святого Франциска — один из монашеских орденов, основанных Франциском Ассизским.

*Велабр, Карины* — торговые кварталы в древнем Риме, где были сосредоточены продовольственные лавки.

Стр. 496. *Пелопоннесская война* — война между древними Афинами и древней Спартой (431—404 гг. до н. э.).

*Леонид I* — царь Спарты (488—480 гг. до н. э.). Возглавил войну с персидским царем Ксерксом и погиб после героической борьбы в Фермопильском ущелье вместе с тремя сотнями своих воинов.

*Ведическая Индия* — Веды — священные песнопения древней Индии, собранные воедино в виде книг с комментариями около тысячи лет до н. э. Возникновение же самих этих гимнов относят к еще более глубокой древности — за две тысячи лет до н. э.

*Себастианизм* — движение, возникшее в Португалии после трагического финала экспедиции короля дон Себастиана в Африку в 1578 г. В битве при Алкасер-Кибире португальское войско было разгромлено, а сам король пропал без вести, вследствие чего в 1580 г. Португалия была присоединена к испанской короне, утратив национальную независимость на шестьдесят лет. Уязвленный в национальных чувствах народ не хотел верить, что дон Себастиан погиб. В стране распространился себастианизм, последователи которого утверждали, что дон Себастиан жив, скрывается на неизвестном острове и когда-нибудь вернется, чтобы потребовать свой трон у испанских захватчиков.

...о нашей Восточной империи... — Имеются в виду владения Португалии в Индии и Океании. К XIX в. в составе Португальской Восточной империи оставались Гоа, Даман, Диу, Макау и Тимор.

*Маркиз де Помбал* — см. прим. к стр. 229.

Стр. 499. *Рибатэжо* — португальская провинция, занимающая территорию по берегам среднего и нижнего течения реки Тэжо.

Стр. 500. *Сан-Бенто* — здание бывшего мужского монастыря в Лиссабоне, где после принятия конституции происходили заседания обеих палат португальских кортесов, а ныне размещается «Национальная ассамблея».

Стр. 501. *Дон Жоан IV* (1604—1656) — король Португалии, первый из династии Браганса. Взошел на престол в 1640 г. после свержения испанского владычества.

*Карл II* — английский король (1660—1685). Женился на доне Катарине де Браганса, дочери португальского короля дона Жоана IV.

*...после того, как у нас завелся конституционализм, и парламентаризм...* — Парламентский строй возник в Португалии после революции 1820 г., провозгласившей либеральную конституцию по образцу испанской 1812 г. Но вопреки усилиям революционеров 20-х годов и их преемников — сентябристов парламентаризм после 1852 г., с приходом к власти банкирско-помещичьей олигархии и режима «регенераторов», выродился в псевдолиберальное красноречие модных ораторов, служившее прикрытием реакции.

*Моуария* — см. прим. к стр. 165.

*Жоан V* — король Португалии (1706—1750).

Стр. 502. *Дона Мария I* — королева Португалии (1777—1816).

*Глоссы* — стихотворный жанр, процветавший в испанской и португальской поэзии в XVII—XVIII вв.; в первом четверостишии содержалась тема, которую следовало развить, заканчивая каждую строфу одним из стихов темы,

*Жоан VI* — см. прим. к стр. 42.

*Сапфические оды* — оды, написанные сапфическим стихом. Так назывался у древних одиннадцатисложник, изобретение которого приписывалось греческой поэтессе Сафо (VI в. до н. э.).

Стр. 505. *Калино* — персонаж из старинных французских водевилей (так в старину назывались народные сатирические песенки), тип наивного до глупости молодого человека.

Стр. 512. *Антология* (точнее: Греческая антология) — собрание афоризмов, стихов, эпиграмм на греческом языке, составленное в X в. Константином Кефалом и многократно переписывавшееся и переиздававшееся с комментариями на латинском языке.

Стр. 513. *«Любушин суд»* — памятник древнечешской литературы, который относят к X—XI вв. Содержание отрывка этой поэмы, найденного в 1818 г., — распря двух братьев из-за наследства. Умирает старый князь Крок, и народ выбирает в правительницы его дочь Любушу, девицу мудрую и кроткую. «Воссев на золотом отчем престоле», Любуша рассудила братьев. Многие исследователи подвергают сомнению подлинность «Любушина суда».

*...подобно дантовским влюбленным, «в тот день они уж больше не читали»* — намек на эпизод из «Ада» Данте (Песнь 5, ст. 130—139): Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло осознали свою взаимную любовь, когда вместе читали книгу о Ланселоте, рыцаре Круглого стола, и его любви к королеве Джиневре.

Стр. 514. *Петрополис* — город в Бразилии, бывшая резиденция королевского двора и дипломатического корпуса.

Стр. 515. *«Это было в Вавилоне, в месяце Сивану, после сбора бальзама»* — см. прим. к стр. 472.

Стр. 517. *Септа-Синду*, или Семиречье — область в северной Индии, где в глубокой древности, как предполагается, обитали «арийцы», говорившие на индо-иранском языке и создавшие один из древнейших памятников религиозной литературы — Веды.

*Эколь Нормаль* — высший педагогический институт в Париже.

Стр. 519. *Босвелл* Джеймс (1740—1795) — английский писатель. В 1763 г. Босвелл познакомился с доктором Сэмюэлем Джонсоном, автором «Словаря английского языка» и «Жизнеописаний английских поэтов», вел подробные записи своих с ним бесед, а после его смерти написал книгу «Жизнь Сэмюэля Джонсона».

*Дудан* Ксименес (1800—1872) — французский литератор и моралист, автор четырехтомной «Переписки».

Стр. 520. *Бигоррский пик* — вершина в гористой части Верхних Пиренеев.

Стр. 523. *Бертело* Марселен (1827—1907) — французский ученый и политический деятель, автор многих трудов по органической химии и химии тепловых процессов.

*Бонна* Леон (1833—1922) — французский художник-портретист.

*Фальгьер* Александр (1831—1900) — французский скульптор.

*«Происхождение христианства»* — работа французского философа Эрнеста Ренана (1823—1892).

Стр. 524. *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк, автор «Истории Французской революции» и семнадцатитомной «Истории Франции». Антеро де Кентал в 1866 г. ездил в Париж и показывал Жюлю Мишле свои «Современные оды».

Стр. 526. *...эти покатые плечи, скорбные, ангельские... и совершенно вышедшие из моды во Франции со времен Карла X, «Лилии в долине» и непонятых сердец...* — Фрадики иронически характеризует романтический идеал женщины — бледной, печальной, непонятой людьми и страдающей от духовного одиночества. «Лилия в долине» — роман Бальзака, написанный в 1835 г., героиня которого воплощает этот романтический идеал. Карл X — король Франции (1824—1830); годы его царствования совпали с периодом расцвета романтизма во французской литературе.

Стр. 527. *Теннисон* Альфред (1809—1892) — английский поэт-романтик.

*...ведь вина Трессанов восходят по мужской линии к ядам Бренвиле.* — Мари-Мадлен д'Обри, маркиза де Бренвиле (1630—1676) — знаменитая отравительница, кончившая на эшафоте. Она отравила многих людей, в том числе своего отца и братьев.

Стр. 528. *Сезострис* — имя, которым античные историки, в их числе Геродот, называли некоего могущественного фараона Древнего Египта. Некоторые исследователи идентифицируют его с Рамзесом II, другие полагают, что это Сенусрит (или Сенусрет), царь XX династии.

*Маснепо* Гастон (1846—1916) — французский ученый-египтолог, руководивший раскопками в Мемфисе и Фивах.

Стр. 531. *...más по-испански и más по-португальски.* — Слово *más* в испанском и португальском языках имеет разное значение: *más* по-испански — прочее, еще, *más* по-португальски — плохие, дрянные. Поэтому замена испанского *más* португальским меняет смысл фразы. Вместо «и прочее, прочее» эти слова означают «и прочая дрянь».

Стр. 534. *Пуэрта-дель-Соль* — одна из главных площадей Мадрида. *Ласарильо* — герой испанского плутовского романа XVI в. «Ласарильо с Тормеса».

*Соррилья* Хосе (1817—1893) — испанский поэт и драматург.

*Кеведо-и-Вильегас* Франсиско Гомес де (1580—1645) — испанский писатель, автор сатирического романа «Бускон».

*Миньотское наречие* — см. прим. к стр. 91.

Стр. 535. *Сома* — любимый напиток древнеиндийского бога Индры. *Сома* приготавливалась из сока растения, носившего то же название.

Стр. 537. *Flamen Dialis* (лат.) — так назывался в Древнем Риме верховный жрец Юпитера.

*Гарупекс* — жрец в Древнем Риме, гадавший по внутренностям жертвенных животных.

«*Старость вечного отца*» — произведение португальского поэта А. Герра Жункейро (1850—1923).

Стр. 540. *Мальбрани* Никола (1638—1715) — французский философ-идеалист, последователь Декарта, автор «Исследования об истине».

*Махадева* — Великий бог у древних обитателей Индии — арийцев.

Стр. 556. *Кановас дель Кастильо* Антонио (1828—1897) — испанский политический деятель и писатель.

Стр. 559. *Ulyssipo pulcherrima* — «Прекрасный Лиссабон» (лат.). *Ulyssipo*, или *Olyssipo* — древнее наименование города; его ошибочно выводили от имени Улисса, героя гомеровского эпоса, приписывая ему основание городища на месте теперешнего Лиссабона.

Стр. 560. *Мен де Биран* Франсуа-Пьер-Гонтье (1766—1824) — французский философ-спиритуалист.

*Quo te carmine dicam, Rethica?* — Какими стихами воспеть тебя, вино Ретии? (лат.) — стих из «Георгиек» Вергилия, поэмы в четырех песнях, посвященной труду земледельца.

Стр. 565. *Мы сейчас находимся целиком в стихе семнадцатом седьмой главы Книги Бытия...* — Семнадцатый стих этой главы из Библии

гласит: «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею».

Стр. 566. *...погрузив ботфорты в прах Иосафат...* — Иосафат — царь и пророк Древней Иудеи. Одна из долин вблизи Иерусалима называется Иосафатовой, так как, по преданию, здесь покоится прах пророка.

*...того самого храма, который рухнул от движения плеч объятаго скорбью Самсона...* — Самсон — библейский судья (то есть вождь) и герой борьбы с филистимлянами. Будучи назореем, то есть посвященным богу, Самсон, по обету, носил длинные волосы — символ союза с богом, источник богатырской силы. Однако страсть к вину и филистимлянским женщинам, строжайше запрещенная назореем, погубила Самсона. Он взял в жены филистимлянку Далилу (или Далиду), которая в угоду своим соплеменникам обстригла волосы спящему Самсону. Филистимляне схватили лишившегося силы богатыря, выкололи ему глаза и приковали к колоннам в капище Ваала. Но волосы у Самсона постепенно отросли, а с ними вернулась и дарованная богом сила. Когда в храме собрались филистимляне, Самсон сдвинул руками колонны, между которыми был прикован, и храм рухнул, похоронив под обломками и самого Самсона, и всех его врагов.

Стр. 567. *Маккавеи* — предводители восстания древних иудеев против Селевкидов, завладевших Сирией, родоначальники династии иудейских царей (160—140 гг. до н. э.).

*...где бродил по берегу Давид, набирая камни для пращи, истребительницы чудовища...* — Давид — библейский царь, пророк и поэт. Один из его подвигов — сражение с филистимлянским великаном Голиафом, которого он убил камнем из пращи.

*Иеремия* — один из четырех великих библейских пророков, создатель плачей о грядущей неминуемой гибели Иудейского царства.

Стр. 568. *...вальс из «Мадам Анго»*. — Речь идет о вальсе из оперетты «Дочь мадам Анго» французского композитора Шарля Леккока (1832—1918).

*Назорей*. — У древних евреев так назывались люди, по обету посвященные богу; они не стригли волос, не пили вина, обязаны были блюсти целомудрие и избегать всякого осквернения. Назорейями были Иисус Христос, Иоанн Креститель, библейский Самсон.

Стр. 571. *И с тех пор Рефальдес стал для меня островом лотофагов...* — Лотофаги («питающиеся лотосом») — легендарные жители острова Джерба в Средиземном море; в «Одиссее» о них говорится, что они питались плодами лотоса и приготавливали из них напиток, отведав которого путники забывали свою родину и навеки оставались на острове лотофагов.

Стр. 581. *...писания святого Фомы и сочинения Лигуори...* — Святой Фома Аквинский, или Аквинат (1225—1274) — итальянский богослов,

один из основоположников католической доктрины, автор «Основ теологии». Альфонсо Мария де Лигуори (1693—1787) — итальянский миссионер и богослов.

«Силлабус» — см. прим. к стр. 166.

«Первое января» — португальская газета, основанная в Порто в 1808 г. Своим названием обязана манифестации либералов на Праса Нова в Порто 1 января 1868 г.

Стр. 582. «Полиевкт» — опера итальянского композитора Доницетти (1797—1848).

Стр. 587. *Согласен, важно знать, какой нос был у Клеопатры... потому что от его формы в течение некоторого времени (между битвой при Филиппах и битвой при Акциуме) зависели судьбы мира...* — Эса де Кейрош ссылается здесь на фразу, сказанную французским писателем и философом XVII в. Блезом Паскалем: «Если бы нос у Клеопатры был немного короче, облик мира стал бы иным». В битве при Филиппах (42 г. до н. э.) объединенные силы Октавиана Августа, Марка Антония и Лепида разбили республиканцев, после чего поделили между собой владения Рима. Антонию достался восток, в том числе Египет. Увидев египетскую царицу Клеопатру, Антоний был ослеплен ее красотой, предался ей душой и телом, раздаривал ее детям владения Рима, возбудив негодование соотечественников. Октавиан объявил ему войну, и в битве при Акциуме (31 г. до н. э.) Антоний потерпел полное поражение и лишил себя жизни.

Стр. 588. *...чем во Французскую Комедию на спектакль с Кокленом...* — Братья Коклены — Бенуа-Констан, или Коклен Старший (1841—1909), и Эрнест, или Коклен Младший (1848—1909), — знаменитые французские актеры.

Стр. 589. *...увидишь... святого Франциска Ассизского, раздающего бедным последние оболы Порциункулы...* — Франциск Ассизский (1182—1226), основатель монашеского ордена францисканцев, проповедовал бедность и любовь ко всему живому. Первая обитель францисканцев, где святой Франциск жил со своей братией, находилась в Порциункуле, близ Ассизи. По уставу все приношения верующих раздавались бедным.

Стр. 591. *...бессердечен, как Трастамара или Борджа...* — Энрике де Трастамара, или Энрике II (1333—1379), — король Кастилии по прозвищу «Бастард» или «Братоубийца». Будучи внебрачным сыном короля дона Альфонсо XI, он боролся за престол со своим единокровным братом Педро I Жестоким. Убив Педро I в битве при Монтъеле, он сам стал королем Кастилии. Борджа — семейство итальянских властителей XV—XVI вв., давших нескольких пап, государей и кардиналов. Цезарь Борджа, послуживший Макиавелли прототипом для его трактата «Государь», был хитрым политиком и отличался жестокостью. Его обвиняют

в убийстве своего брата и мужа своей сестры. Сестра его, Лукреция Борджа, также подозревается в убийствах, кровосмешении и других преступлениях, хотя, возможно, без должных оснований.

Стр. 594. *Коллеж де Франс* — высшее учебное заведение в Париже, основанное в 1529 г.

*Acta Urbis* — деяния Города (лат.). — «Городом» с большой буквы древние называли Рим. Фрадики переносит это почетное обозначение на Париж.

Н. Поляк

---

СО Д Е Р Ж А Н И Е

*М. Корраллов. Эса де Кейрош . . . . .* 5

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

*Перевод Г. Лозинского и Е. Лавровой  
под редакцией Н. Поляк*

Часть первая . . . . . 449

Часть вторая. Письма . . . . . 525

Примечания. *Н. Поляк* . . . . . 597



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 127

*Жозе Мария Эса де Кейрош*

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО  
ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

\*

Редактор Л. Бреверн

Оформление «Библиотеки»

Д. Бисти

Портрет

Антонио Карнейро

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

Л. Заселяева

Корректоры А. Юрьева и Р. Пунга

\*

Сдано в набор 5/II 1970 г. Подписано к печати 14/IV 1970 г. Бумага типографская № 1 60X84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 39,0 печ. л. 36,39 усл. печ. л. 37,86 уч.-изд. л. + 8 накидок + 1 вкл. = 38,88  
Тираж 300 000 экз. Заказ № 787.  
Цена 1 р. 78 к.

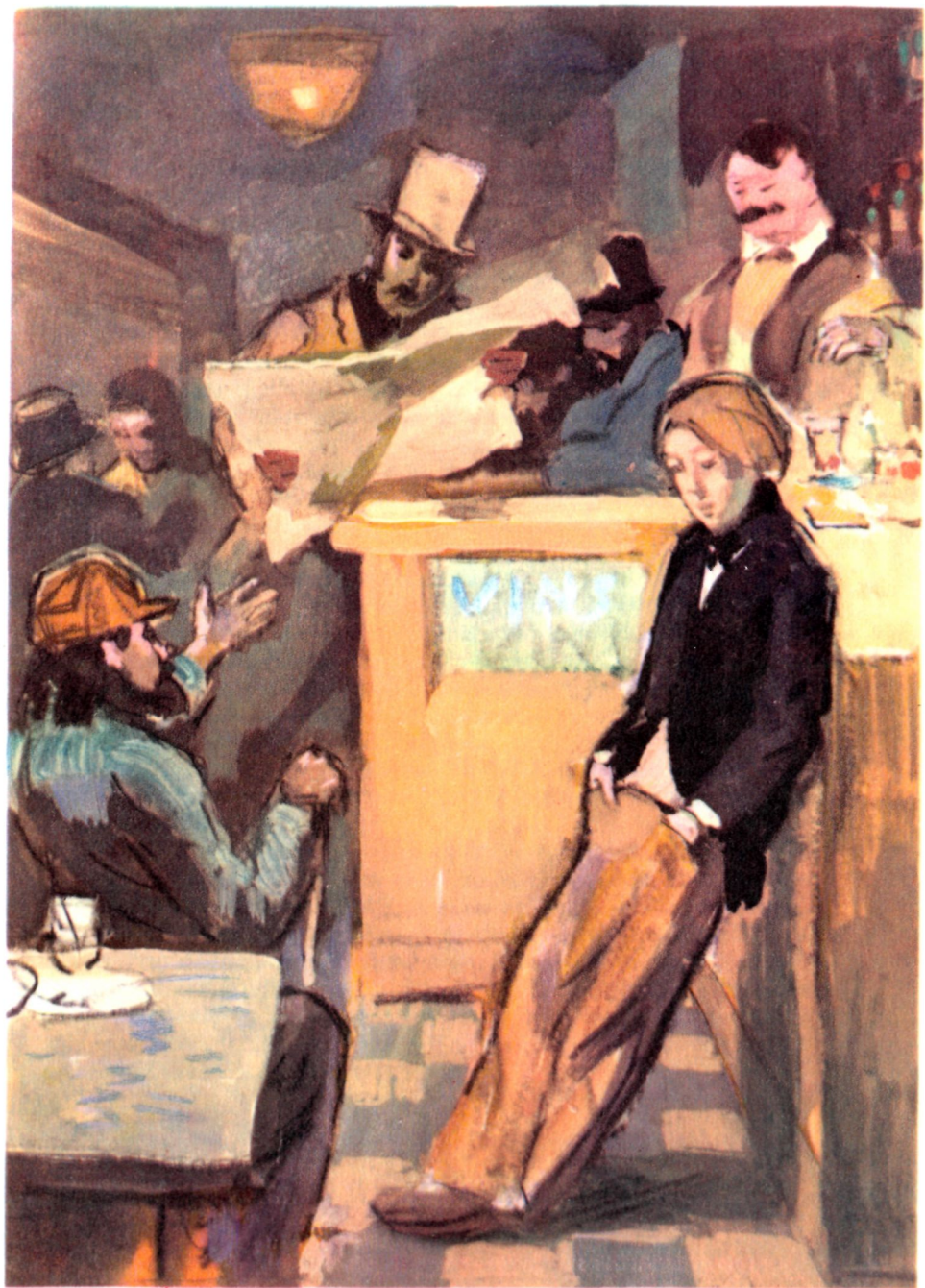
Издательство «Художественная литература»  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

\*

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени  
А. А. Жданова  
Главполграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Москва, М-54, Валовая, 28











Antônio Carneiro  
1914 - X

ЭСА ДЕ КЕЙРОШ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО  
ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

